

А. ТАДАНОВ

ЧУДЕСНЫЙ

родник

**Scan Kreyder - 22.07.2016**  
**STERLITAMAK**

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ НЕРУССКИХ ШКОЛ

А. Т А Л А Н О В



# ЧУДЕСНЫЙ РОДНИК

ИЗДАТЕЛЬСТВО

„ДЕТСКАЯ

ЛИТЕРАТУРА“

МОСКВА

1 9 6 7

8 P1  
T 16

Очерки о Пушкине А. С.,  
Тургеневе И. С., Некрасове Н. А.  
Толстом Л. Н. и Чехове А. П.

Подбор иллюстраций  
Т. Г. Динесман и Н. А. Марченко

Оформление Н. Мунц



# БЫЛЬ И СКАЗКА



## ЗВЕНЬЯ ЦЕПИ

**П**ушкин подошел к окну. В сумраке зимнего вечера, среди обычных, словно по ранжиру стоящих петербургских домов, Михайловский дворец казался странным и призрачным. Вокруг него каменные стены, крепостные ворота с башнями, залитый водой ров. Мрачный тевтонский замок! Полусумасшедший император Павел воздвиг его как надежное себе убежище, но именно тут удушили его заговорщики.

— Замок тирана... Вот тема импровизации!

Насмешливый голос заставил обернуться. Ну конечно, это сказал хозяин дома: о чем бы ни заходила речь, в голосе его звучала усмешка и глаза смотрели с ироничным прищуром.

— Что ж, Николай Иванович, примусь...

— Ан не написать!

Пушкин вспыхивает. Его легко поддеть, он быстро загорается, тогда не остановишь. Николай Иванович Тургенев знает эту слабость юного друга и порой, грешен, пользуется ею, чтобы лишний раз порадоваться таланту поэта.

И на сей раз расчет оказался верен: Пушкин задумался, глядя в заснеженное окно. Затем проворно вскочил на стол и, растянувшись плашмя, принялся писать. По листу бумаги побежали торопливые строки:

...куда ни брошу взор —  
Везде бичи, везде железы,  
Законов гибельный позор,  
Неволи немощные слезы;  
Везде неправедная власть  
В сгущенной мгле предрассуждений  
Воссела — рабства грозный гений  
И славы роковая страсть.

Вдохновение слетает негаданно, и ода «Вольность» родилась не по прихоти случая.

Кто не знает в Петербурге братьев Тургеневых! Старший — Александр и младший — Николай известны своим умом, образованностью, передовыми взглядами. Ну как недавнему лицеисту не чтить этих людей и не поддаваться их влиянию! И в тот зимний вечер нужен был только легкий повод, чтобы он поведал сокровенное:

Самовластительный злодей!  
Тебя, твой трон я ненавижу,  
Твою погибель, смерть детей  
С жестокой радостью вижу.  
Читают на твоём челе  
Печать проклятия народы,  
Ты ужас мира, стыд природы,  
Упрек ты богу на земле.

Как грозное предостережение тиранам звучали слова:

Склонитесь первые главой  
Под сень надежную закона,  
И станут вечной стражей трона  
Народов вольность и покой.

Дописав последнюю строку, Пушкин порывисто направился в соседнюю комнату. Там в гостиной шел шумный спор, хотя модные сюртуки и гвардейские мундиры собравшихся никак не соответствовали предмету этого спора — как избавиться от власти самодержавия.

— Ждем! Слушаем!.. — раздались голоса, едва на пороге показался Пушкин с исписанными листками бумаги. В гостиной стало тихо.

Пожалуй, никогда еще семнадцатилетний поэт не имел такого успеха, как в этот зимний вечер, когда читал свою экспромтом рожденную оду.

Голосом, полным внутренней силы, Пушкин торжественно читал:

Хочу воспеть свободу миру,  
На тронах поразить порок...

Последние слова оды заглушили восторженные возгласы: «Браво, Пушкин!.. Да здравствует воля!»

Уже на следующий день в столице разнесся слух о пламенной оде. И вскоре по всей стране разлетелись рукописные с нее списки.

Минул год, и в светских салонах, в театрах во время антрактов, на Невском проспекте в предвечерний прогулочный час снова у всех на устах было имя поэта:

- Слыхали?
- Пушкин...
- Да, написал сказки.
- Отнюдь не детские!
- О самом царе...

Говорили шепотом, с оглядкой, опаской, и все же дерзновенные «Сказки» распространялись.

Император Александр Первый дал повод для злой сатиры: «Ура! в Россию скачет кочующий деспот». В Польском сейме он произнес речь и пообещал даровать России конституционные формы правления.

«...И людям я права людей,  
По царской милости моей,  
Отдам из доброй воли».

От радости в постеле  
Распрыгалось дитя:  
«Неужто в самом деле?  
Неужто не шутя?»

Но, возвратясь в Россию, царь забыл свои сладкие речи,  
и мать поет младенцу колыбельную:

«Бай-бай! закрой свои ты глазки;  
Пора уснуть уж наконец,  
Послушавши, как царь-отец  
Рассказывает сказки».

«Сказки» Пушкина, как и оду «Вольность», передовые люди встретили с восторгом, а реакционеры с ненавистью. Один из них, В. Н. Каразин, вскоре сочинивший донос на Пушкина, гневался: «Какой-то мальчишка Пушкин, питомец лицейский, в благодарность написал презельную оду, где досталось фамилии Романовых вообще, а государь Александр назван кочующим деспотом... К чему мы идем?»

Поэзия Пушкина становилась опасной.

На Екатерингофском проспекте, против Большого театра, вблизи церкви Николы Морского, стоит вытянувшийся в длину большой дом. Весь второй этаж его занимает молодой аристократ, камер-юнкер Никита Всеволодович Всеволожский. Он числится в Министерстве иностранных дел, но не утруждает себя служебными обязанностями. Его страсть — театр, увлекается он литературой, не чужд и политики.

Всеволожский создал у себя, вернее, пустил под свой кров, литературно-художественный кружок с уютным названием «Зеленая лампа». Название это не случайно. Возникло оно не только потому, что кружок собирается в зале, где висит лампа с зеленым абажуром, но и оттого, что зеленый

цвет — символ надежды. А члены кружка возлагают великие надежды на грядущую свободу России. И устав Союза благоденствия зовется «Зеленой книгой» не из-за цвета переплета, а потому, что в этой книге заключена вера в справедливое будущее России.

Невидимые нити связывают «лампистов» с Союзом благоденствия. Лишь некоторым членам кружка известно, что его основатели — Ф. Глинка, Я. Толстой, С. Трубецкой — действуют по поручению тайного Союза благоденствия. Потому «ламписты» приучаются к конспирации, дают торжественное обещание хранить тайну собраний, каждый имеет кольцо с изображением лампы и девизом кружка: «Свет и надежда».

На одном из собраний сочинитель А. Улыбышев читал свою повесть «Сон», в которой описал будущую Россию и ее обновленную столицу. Вместо бесчисленных казарм появились общественные школы, академии и библиотеки. Аничков дворец — резиденция наследника престола — превратился в Пантеон с прекрасными статуями людей, прославившихся своими талантами и заслугами перед отечеством. Примечательно, что изображения владельца дворца в нем нет и в помине. Все изменится в стране благодаря «великим событиям». «Великие события, разбив наши оковы, вознесут нас на первое место среди народов Европы!» — пророчески читал автор повести «Сон», и слова его были покрыты аплодисментами.

Молодой человек с курчавыми волосами, смуглым лицом и большими, живыми глазами аплодировал особенно горячо. Он даже привстал с кресла и, побуждаемый неудержимым порывом, воскликнул:

— И я прочту свое...

— Пушкин, просим!..

Здесь любят молодого поэта, и всякое его выступление встречается с радостью. Он охотно читает свои новые произведения, а однажды, к общему удовольствию, прочел стихи, посвященные всем членам кружка.

— Наверяно это революционными событиями в Испании...

Мне бой знаком — люблю я звук мечей;  
От первых лет поклонник бранной славы,  
Люблю войны кровавые забавы,  
И смерти мысль мила душе моей.  
Во цвете лет свободы верный воин,  
Перед собой кто смерти не видал,  
Тот полного веселья не вкушал  
И милых жен лобзаний не достоин.

Читал, как всегда, проникновенно и с такой выразительностью, что стихи звучали как музыка.

— Превосходно... Замечательный поэт... Владыка рифмы! — восторгались слушатели.

— Благодарю... Вы в высшей степени талантливый поэт... — Офицер с орденами на гвардейском мундире крепко пожал руку Пушкину.

— Ваше отношение мне чрезвычайно дорого, — ответил Пушкин.

То были не пустые слова — мнение полковника Федора Глинки он ценил высоко. Для того имелись основания: Глинка сам был незаурядным поэтом. Участник войны 1812 года, за храбрость награжденный золотым оружием, он состоял при столичном генерал-губернаторе Милорадовиче для особых поручений и был его советчиком в вопросах общественной жизни. Поговаривали также, что он — член Союза благоденствия.

— Буду рад, если когда-либо окажусь вам полезным... — со странной значительностью произнес Глинка и еще раз пожал руку собрату по искусству.

«Почему он так сказал? Не случайно...» — возможно мысль эта и мелькнула у Пушкина, но вряд ли он удержал ее в тот, по обыкновению шумный и веселый, вечер на собрании «Зеленой лампы».

Царь разгневался. Сатирические стихи, политические эпиграммы, остроты, касавшиеся особы самого императора, — разве это не повод, чтобы обрушить свое негодование на дерзкого поэта?



14 апреля 1820 года генерал-губернатор граф Милорадович получил личный приказ Александра Первого сделать у Пушкина тщательный обыск.

В отсутствие поэта в его дом явился полицейский сыщик.

— Вот тебе пятьдесят рублей, а ты дай мне сочинения своего барина, — предложил он Никите, слуге Пушкина.

— Нет! — наотрез отказался Никита.

Никакие посулы не подействовали на верного слугу. Сыщик удалился ни с чем. Но на следующий день Пушкин получил приказ явиться к Милорадовичу.

Само собой пришла мысль предварительно повидать благорасположенного полковника Глинку. Пушкин направился к нему. Они встретились на улице возле дома Глинки.

— Я шел к вам посоветоваться... Слух о моих и не моих сочинениях, разбежавшихся по рукам, дошел до правительства... — сказал Пушкин. — Теперь меня требуют к Милорадовичу! Я не знаю, как и что́ будет...

Глинка с дружеским вниманием выслушал поэта и тут же подал совет:

— Идите прямо к Милорадовичу, не смущаясь и без всякого опасения. Положитесь безусловно на благородство его души: он не употребит во зло вашей доверенности.

Говоря это, Глинка, конечно, рассчитывал на свое влияние на графа и надеялся, что ему удастся повернуть все в благоприятную сторону.

Пушкин послушал доброго советчика и отправился к генерал-губернатору.

Прославленный герой Отечественной войны Милорадович отличался от угодливых царских приспешников. Отважный воин был прям и независим в своих решениях.

Но едва поэт пришел к нему, как тот распорядился немедленно опечатать все его бумаги.

Слыша это приказание, Пушкин сказал:

— Граф! Вы напрасно это делаете — я сжег все! В квартире у меня ничего не найти, однако, если вам угодно, все найдется здесь. — Пушкин указал пальцем на свой лоб. — Прикажите подать перо и бумаги; я напишу все, что когда-

либо написано мною (разумеется, кроме печатного), с отметкою, что́ мое и что́ разошлось под моим именем.

Милорадович посмотрел на говорившего и произнес:

— Вот это по-рыцарски!

Пушкину подали перо и бумагу, он принялся писать. Исписал целую тетрадь. В нее вошли все его неопубликованные эпиграммы, сатирические стихи, политические остроты.

Окончив, подал написанное генерал-губернатору.

Милорадович стал читать и рассмеялся:

— Это все я покажу государю. А вы завтра пораньше придите ко мне.

Пушкин явно пленил генерал-губернатора.

Тем временем друзья поэта усиленно хлопотали о смягчении его участи. Особенно старался Карамзин. Обратившись к государыне Марии Федоровне, он просил принять во внимание талант и молодость провинившегося поэта.

Общие хлопоты имели успех. Граф Милорадович поделился с Глинкой своим разговором с царем.

— Я подал государю тетрадь Пушкина и сказал: «Здесь все, что разбрелось в публике, но вам, государь, лучше этого не читать...» Потом я рассказал подробно, как у нас дело было. Государь слушал внимательно и наконец спросил: «А что же ты сделал с автором?» — «Я? Я объявил ему от имени вашего величества прощение!»

«Не рано ли?» — нахмурился государь. Потом, еще подумав, прибавил: «Ну, коли уж так, то мы распорядимся иначе: снарядить Пушкина в дорогу, выдать ему прогоны и, с соответствующим чином и с соблюдением возможной благовидности, отправить его на службу на юг».

Так «с соблюдением возможной благовидности» решилась судьба поэта. Грозившая ему ссылка в Сибирь была заменена изгнанием в провинциальную глушь — в Кишинев.

Весной того же года семья генерала Раевского, проезжая через Екатеринослав, нашла ссыльного поэта в бедной хате на берегу Днепра, больным, в бреду, без помощи лекаря.

Друзья поставили больного на ноги. Генерал Раевский добился даже разрешения от начальника края взять Пушкина с собой на Кавказ для поправления здоровья.

Путешествие это оказало благотворное действие на поэта. Не одну тетрадь заполнил он стихами, навеянными чудесными картинами Кавказа и затем Крыма, куда довелось ему попасть на обратном пути.

В марте 1821 года Пушкин прибыл в Кишинев для службы у наместника Бессарабии И. Н. Инзова. Наместник понимал положение молодого человека, изгнанного царем из столицы, и относился к нему с доброй взыскательностью.

В начале августа 1823 года Пушкин был переведен в Одессу в канцелярию новороссийского генерал-губернатора. После захоластного Кишинева Одесса показалась ему городом, овеянным европейской культурой.

Полный радостных надежд, Пушкин писал брату: «...я оставил мою Молдавию и явился в Европу. Ресторация и итальянская опера напомнили мне старину и, ей-богу, обновили мне душу. Между тем приезжает Воронцов, принимает меня очень ласково, объявляет мне, что я перехожу под его начальство, что остаюсь в Одессе...»

Увы! Первые радости сменились разочарованием. «...На Воронцова нечего надеяться, — вскоре сообщает Пушкин своему другу Вяземскому. — Он холоден ко всему... Никто из нас не захочет великодушного покровительства просвещенного вельможи...»

Чем объяснить такую изменчивость? Сменой настроений, поверхностностью суждения?

Генерал-губернатор Новороссийского края, граф М. С. Воронцов, — личность незаурядная. Молодость он провел в Англии, получил там блистательное образование. Потом служил в армии, отличился в боевых действиях на Кавказе, в турецкой кампании, большую отвагу проявил в Отечественной войне. В Бородинском сражении был ранен, а при Краоне выдержал битву с самим Наполеоном. После разгрома Бонапарта Воронцов командовал оккупационными войсками во Франции. В это время он запретил в армии телесные наказа-

ния. И совсем было заслужил репутацию либерала, когда подал Александру Первому свой проект отмены крепостного права. Все же царь, сначала подвергший его опале, доверил ему управление Новороссией.

Прощенный вельможа стремился оправдать царское доверие. Властный, холодный, часто жестокий, он не стеснялся в средствах для достижения целей. Ласковая улыбка на его лице порой лишь скрывала мстительное чувство.

Неограниченный владыка Новороссии — края гораздо большего, чем некоторые европейские государства, — не терпел возражений от подчиненных. Очень скоро он невзлюбил ссыльного «сочинителя», мелкого чиновника, коллежского регистратора, осмелившегося держаться с ним гордо и независимо, не пожелавшего примкнуть к льстивой свите царского наместника.

Пушкин так расценивал отношения со своим начальником. «Аристократическая гордость сливается у нас с авторским самолюбием, — говорил он. — Мы не хотим быть покровительствуемы равными. Вот чего подлец Воронцов не понимает. Он воображает, что русский поэт явится в его передней с посвящением или одою, — а тот является с требованием на уважение, как шестисотлетний дворянин, — дьявольская разница!»

Воронцов, со своей стороны, высокомерно утверждал: «С Пушкиным я говорю не более четырех слов в две недели, он боится меня, так как знает прекрасно, что, при первых дурных слухах о нем, я отправляю его отсюда... он теперь очень благоразумен и сдержан; если бы было иначе, я отослал бы его и лично был бы в восторге от этого, так как я не люблю его манер и не такой уж поклонник его таланта...»

В то же время в Одессе нашлось множество почитателей таланта поэта, они окружили его вниманием, которое Воронцову казалось чрезмерным и даже вредным для общества.

Воронцов послал донесение министру иностранных дел графу Нессельроде, по ведомству которого числился Пуш-

кин: «...собственный интерес молодого человека, не лишённого дарований... заставляет меня желать его удаления из Одессы... Он прожил здесь сезон морских купаний и имеет уже множество льстецов, хвалящих его произведения; это поддерживает в нем вредное заблуждение и кружит его голову тем, что он замечательный писатель, в то время, как он только слабый подражатель писателя, в пользу которого можно сказать очень мало, — лорда Байрона... Удаление его отсюда будет лучшая услуга для него».

Воронцов обходился с Пушкиным все оскорбительнее и однажды приказал отправиться для борьбы с распространившейся в уездах саранчой.

Это было ничем не прикрытое издевательство. Поэт подчинился и сделал вид, что исполнил распоряжение. Но, вернувшись, подал рапорт с просьбой освободить его от унижительной службы. Одновременно он написал шуточный стишок:

Саранча летела, летела  
И села,  
Сидела, сидела — все съела  
И вновь улетела.

Стишок дошел до ушей губернатора, вызвав в нем еще большее недовольство.

Разгневанный и взбешённый, Воронцов во второй раз обращается в Петербург: «...повторяю мою просьбу, — избавьте меня от Пушкина, это, может быть, превосходный малый и хороший поэт, но мне бы не хотелось иметь его дольше ни в Одессе, ни в Кишиневе».

Настоятельное требование графа на этот раз попало на особенно благоприятную почву. Ссылный поэт был уличен в «тяжком грехе». В руки московской полиции попало письмо, которое Пушкин послал из Одессы поэту Вяземскому. Пушкин сообщал, что познакомился с интересным человеком, англичанином, единственным умным и образованным безбожником, которого доселе ему доводилось встречать. «Беру [у него] уроки чистого афеизма», — шуточно сообщал автор письма.

Именно эти слова посеяли бурю. «Афеизм» — то есть безбожие — что может быть страшнее?! Ведь безбожие считалось государственным преступлением.

О письме доложили самому царю.

И тогда незамедлительно вышло царское указание: коллежского секретаря Пушкина «...за дурное поведение... удалить... в имение родителей, в Псковскую губернию, под надзор местного начальства».

29 июля 1824 года одесский градоначальник рапортовал новороссийскому генерал-губернатору: «Пушкин завтрашний день отправляется отсюда в город Псков по данному от меня маршруту через Николаев, Елизаветград, Кременчуг, Чернигов и Витебск. На прогоны к месту назначения, по числу верст 1.621, на три лошади, выдано ему денег 389 руб. 4 коп.».

## ЗАКОВАННЫЕ ДНИ

Зима сковала все вокруг. Река, недавно змейкой вившаяся по луговому простору, замерзла. Озеро, которое при малейшем порыве ветра вздыбливалось гребнями и тогда походило на вспаханное поле, покрылось льдом. Кусты сирени в саду укутались в пушистые белые одежды.

Усадьба Пушкиных тонет в сугробах. И если бы не высокий берег Сороти, на крутизне которого прилепился старый господский дом, то в сверкающей белизне его бы и не заметить.

Владелец усадьбы — явно нерадивый хозяин. И не придирчивый глаз сразу приметит поломанную изгородь и захламленный двор, посреди которого брошены сани, распряженные второпях. И возле никаких признаков помещичьего достатка: ни просторной конюшни, ни скотного двора с птичником.

Наверно, оттого крохотный, с резным крылечком домик, примыкающий к обветшалому барскому, кажется уютным, даже нарядным. Он называется «няниным» — в нем обитает



старая няня, выпестовавшая всех господских детей. Окна ее домика глядят прямо в сад. Зимой в доме тепло, а летом прохладно; таков секрет кладки русской печи: смотря по времени года, она холодит или греет.

Няня Арина Родионовна владеет даром привечать душевным теплом, но это зависит от того, кто явился, с добром или со злом.

Вот она вышла во двор накормить своего любимца Полкана. Пес давно уже вылез из будки и поджидает хозяйку. Едва приоткрылась дверь, он бросился с радостным лаем.

— Баловник..— ворчит старушка, но взгляд ее ласковый, на лице добрая улыбка.

В тот год осень держалась долго. А зима явилась лютая, будто злилась на свое опоздание. От мороза снег крепкий, сухой, звонко хрустит под ногами. Колючий ветер бросает его няне в лицо.

Зябко кутаясь в домотканую шаль, старушка поставила перед собакой миску с едой. Полкан благодарно завертел хвостом и преданными глазами уставился на хозяйку. Свирепый и грозный, так ласково он относится только еще к одному человеку, которому разрешает даже выделять над собой рискованные штуки.

И сейчас, откуда ни возьмись, этот шутник выскочил во двор, словно стоит лето, в одной красной рубахе и шелковых шароварах.

— Разве можно так... Куда это годится, Александр Сергеевич! Простынете, немедля извольте идти домой...— сердится няня.

— Заскучал, и в дому холодно, как в могиле. Пойду к тебе, мама.

Красная рубаха мелькнула в дверях няниного домика. Тотчас оттуда послышался смех и веселые девичьи голоса.

— Вишь, расшалился наш Александр Сергеевич! Ну, лишь бы радость на сердце вернул...— раздумчиво молвила няня.— Верно, Полкан?

Пес бросил немигающий взгляд на хозяйку и, будто соглашаясь с ней, завилял кудлатым хвостом.

...В тесном нянином домике дворовые девушки вышивают, плетут кружева. Искусницы они великие в деле этом, требующем много терпения и тонкого вкуса.

До позднего вечера, при свете лучины, юные мастерицы сидят, склоняясь над сложным узором. За окном темь непроглядная, морозно, в печной трубе ветер поет заунывную песню, ему вторят кружевницы и вышивальщицы.

Арина Родионовна поглядывает на своих подопечных. В далекие годы она вот так же не разгибала спины над замысловатым узором. Сколько слез выплакалось. И ни смеха, ни шуток, не то что ныне.

Ох уж Александр Сергеевич! Вечно от его выдумок все вокруг ходуном ходит. То домового с рогами изобразит, то обезьяной скачет заморской иль запоет петухом. И вдруг задумается, загрустит и тогда, чтобы развеять грусть-тоску, просит: «Расскажи, мама, сказку, лучше тебя никто не умеет их сказывать».

Он зовет ее мамой. «Оттого, — говорит, — что ты лучше и ближе мне родной матери». И няня тоже в нем души не чает, готова за него жизнь отдать.

Еще бы его не любить, не жалеть: при живых отце и матери — как сирота, один-одинешенек. Покинули родители его, из деревни уехали в столицу — в Санкт-Петербург.

А он-то, сердешный, мчался к ним после долгой разлуки — целых четыре года в ссылке провел! От Одессы до родного Михайловского расстояние в тысячу шестьсот с лишним верст за десять дней проскакал.

В солнечный августовский день к крыльцу господского дома подкатила покрытая дорожной пылью почтовая тройка. Не дожидаясь, пока кучер придержит лошадей, Александр Сергеевич на ходу выпрыгнул из коляски. Вихрем поднялся по ступенькам крыльца и вбежал в столовую, где за обеденным столом собралась вся семья.

Встреча была бурной, шумной, поначалу радостной.

— Приехал, приехал! — приветствовали брат Лев и сестра Ольга.

— Боже мой, Александр! — Мать нежно обняла сына.

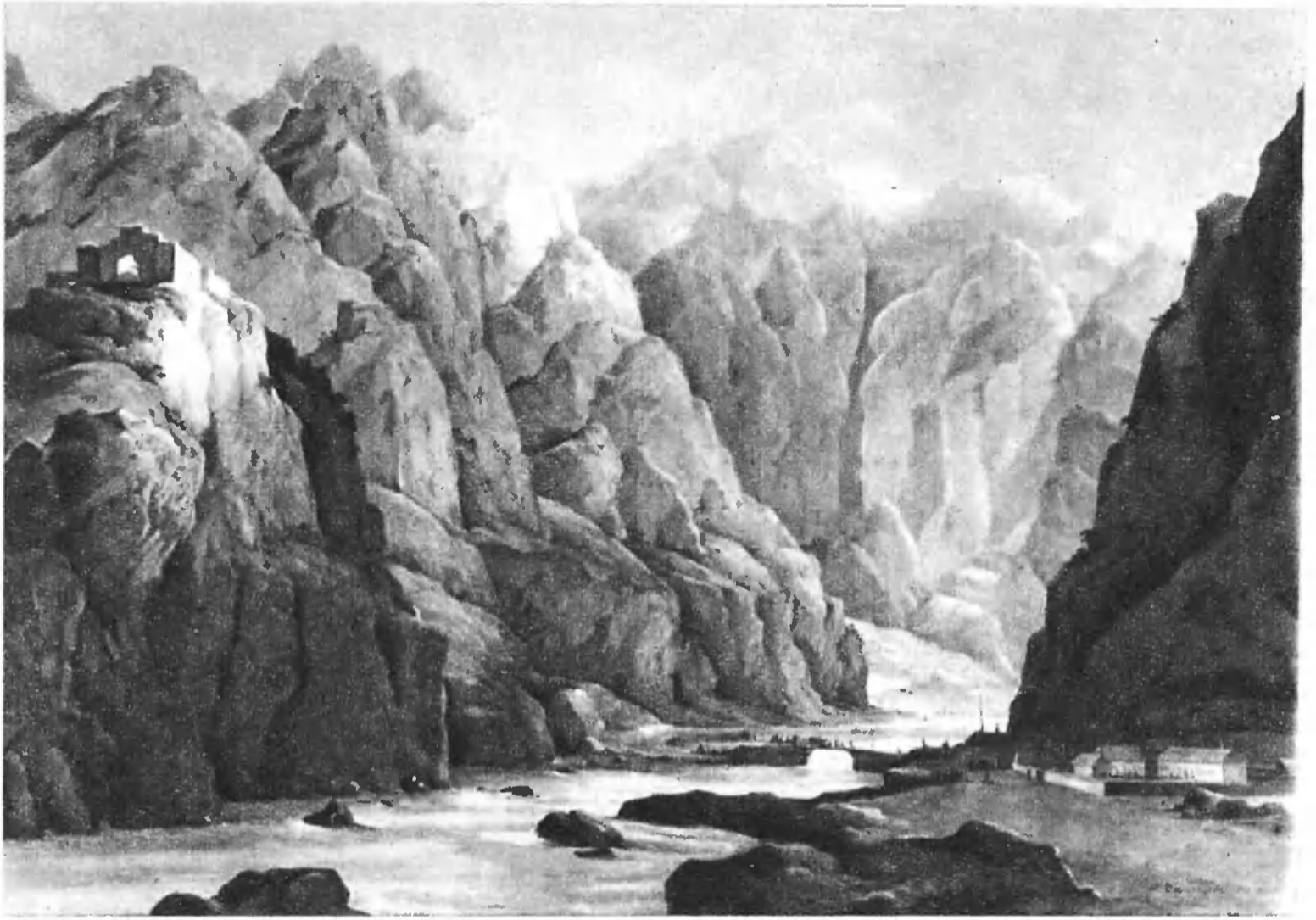


*С. Гейтманъ*

**АЛЕКСАНДРЪ ПУШКИНЪ**

Александр Сергеевич Пушкин.  
Гравюра Е. Гейтмана. 1822 год.





Кавказ. Ущелье Дарьяла.  
Картина Г. Чернецова. 1851 год.





Одесса.

*Акварель работы неизвестного художника, 1823 год.*





Крым. Гурзуф.  
*Литография К. Рабуса. 1822 год.*  
(Справа внизу дом Ришелье, где жил А. С. Пушкин).



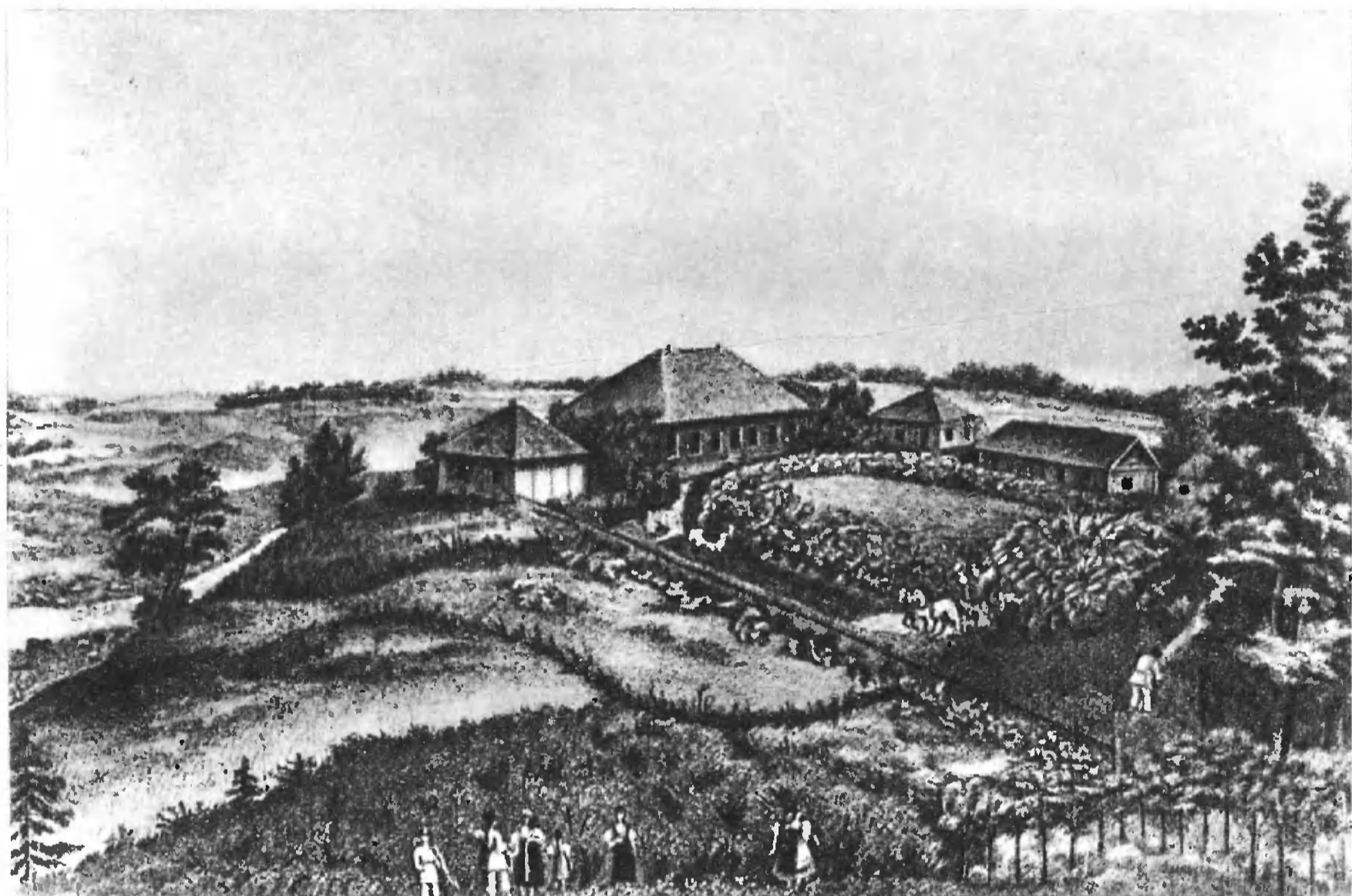
Зарема.

*Иллюстрация Г. Гагарина к поэме «Бахчисарайский фонтан». 1837 год.*



Мария.

*Иллюстрация К. Брюллова к поэме «Бахчисарайский фонтан». 1838 год.*



Сельцо Михайловское.  
Литография Г. Александрова. 1837 год.

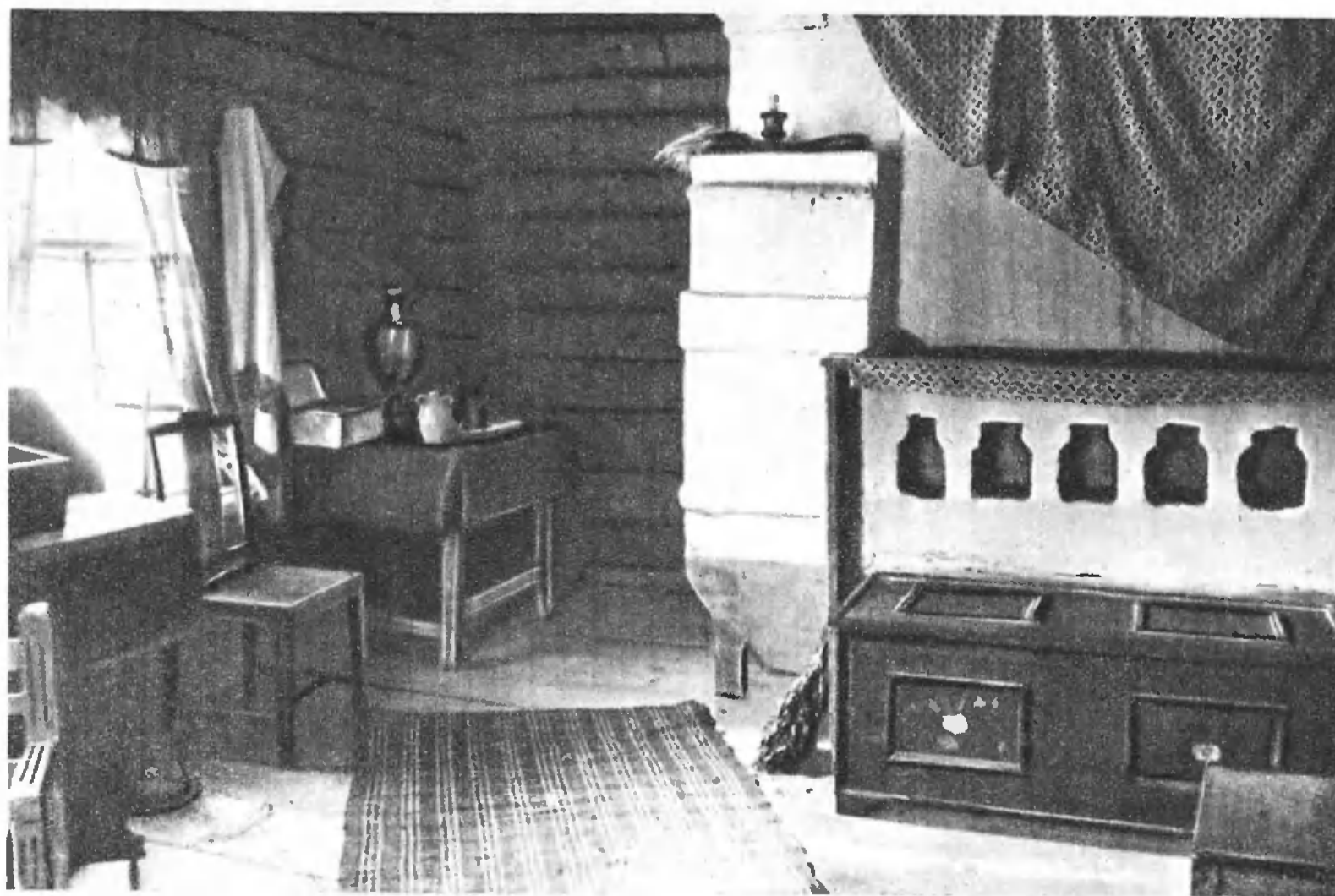


Пушкин на прогулке.  
*Пастель В. Серова. 1899 год.*





Домик няни в Михайловском.



Светелка в домике няни.



Михайловские рощи зимой.



Вид из усадьбы Михайловское на реку Сорочь зимой.



Михайловское. Усадьба зимой.





Женские головки.  
Рисунок А. С. Пушкина на полях рукописи.



Тригорское. Дом Осиповых-Вульф.





Алексей Николаевич Вульф.  
Акварель Григорьева. 1828 год.



Дорога из Михайловского в Тригорское у озера Маленец.



Озеро Маленец.





«Борис Годунов». Сцена «Ночь. Келья в Чудовом монастыре».  
Гравюра С. Галактионова. 1828 год.



Александр Сергеевич Пушкин.  
*Автопортрет.*



*Презименное.*  
*по Э. Онег.*

Евгений Онегин.  
*Рисунок А. С. Пушкина на рукописи романа.*

Распросам, восклицаниям не было конца: «Как изменился!.. Возмужал!.. Похудел...»

Даже отец, который всегда недолюбливал сына, выразил некоторую приветливость.

Но так длилось недолго. Через два-три дня отец вдруг заподозрил неладное, спросил: «Почему приехал? Кто разрешил покинуть место, куда был отправлен по распоряжению самого государя императора?»

Александр Сергеевич отвечал без обиняков, открыл всю правду Тут и началось...

Сергей Львович, по натуре малодушный, превыше всего любящий себя самого, перепугался изрядно: вдруг и на него падет тень царского недовольства? К тому же из Пскова от губернского предводителя дворянства Пещурова пришло строжайшее уведомление наблюдать за неблагонамеренным поэтом.

Никто из окружающих дворян не взял на себя роль соглядатая. И лишь Сергей Львович, отец, согласился тайно следить за сыном, распечатывать переписку, сообщать властям о его поведении.

Велика была обида Александра Сергеевича. Освободиться от гнусного полицейского сыска, чтобы попасть под унижительный надзор близкого человека!

Между отцом и сыном начались взаимные оскорбления, ссоры. День ото дня совместная жизнь становилась невыносимее.

Старший Пушкин пустил даже слух, что сын покушался на его жизнь. Выдумка взбалмошного человека вызвала пересуды, от которых Александру Сергеевичу стало намного горше.

Неизвестно, чем бы все это окончилось, ежели бы к осени Сергей Львович не истомился от безделья и скуки. Потянувшись из деревенской глуши к столичным развлечениям, он объявил:

— Мы отправляемся в Петербург...

Никто не перечил решению главы семьи. Взяв с собой дочь и младшего сына, родители уехали из Михайловского.

Так Александр Сергеевич остался один в пустом господском доме.

С того дня няня заменила ему мать. Единственной и главной ее заботой было теперь скрасить его одиночество и тоску. Ведь с отъездом отца-соглядатая «ссылочный невольник», так называл себя Александр Сергеевич, не обрел желанной свободы. Появились новые полицейские опекуны — предводитель дворянства Пещуров и настоятель Святогорского монастыря иеромонах Иона.

С тревогой глядела Арина Родионовна на своего любимца. Ничто не ускользало от ее внимательного взгляда и чуткого сердца.

— Что-то вы пригорюнились, запечалились, Александр Сергеевич?

— Хандра, мама, все опостылело...

Не мог он признаться, что в отчаянии затеял тайно уехать за границу, в Италию или Францию. В замысел свой посвятил только брата Льва, которому вообще поверял многие заветные думы.

Уговорились братья, что Лев, будучи в Петербурге, подготовит все необходимое для бегства через границу. Предусмотрели как будто все до мелочей, даже какие вещи купить на дорогу: чемодан, чернильницу, лампу.

Михайловскому невольнику оставалось лишь ждать условленного сигнала из Петербурга, куда с отцом уехал младший брат.

Александр Сергеевич ждал сначала терпеливо, потом с нетерпением. Мечтал о том, как удастся наконец обрести неизведанную свободу думать, говорить, писать без оглядки и страха на то, что скажет царь, как поступит цензура, полиция, что решит чиновник, которому поручено наблюдение за вольнодумствующими.

Мысленно он уже прощался со всем, что было ему особенно дорого, — с друзьями, жившими далеко, но неизменно близкими сердцу, с родной, всегда любимой природой, с Рос-

сией, которой он оставался верным, хотя и не обласканным сыном.

Рождались прощальные слова:

...Простите, сумрачные сени,  
Где дни мои текли в тиши,  
Исполнены страстей и лени  
И снов задумчивых души.—  
Мой брат, в опасный день разлуки  
Все думы сердца — о тебе.  
В последний раз сожмем же руки  
И покоримся мы судьбе.  
Благослови побег поэта...

В напряженном ожидании тянулись дни. Однако спасительного сигнала от брата не было. Когда душа совсем истомилась, пришла весть, что петербургские друзья — Жуковский, Вяземский, Плетнев, — которым Лев, не умевший хранить секретов, поведал о затее брата; не поддержали ее.

Возможно, свою роль сыграло и письмо, присланное из Псковской деревни.

Соседка Пушкина по имению Прасковья Александровна Осипова, посвященная в его замысел, обратилась к Жуковскому с дружеским предупреждением: «Если Александр должен будет оставаться здесь долго, то прощай для нас, русских, его талант, его поэтический гений и обвинять его не можно будет. Наш Псков хуже Сибири, а здесь пылкой голове не усидеть. Он теперь так занят своим положением, что без дальнего размышления из огня вскочит в пламя, — а там поздно будет размышлять о следствиях. Все здесь сказанное — не простая догадка, но прошу Вас, чтобы и Лев Сергеевич не знал того, что я Вам сие пишу. Если Вы думаете, что воздух и солнце Франции или близлежащих к ней через Альпы земель полезен для русских орлов и оный не будет вреден нашему, то пускай останется то, что теперь написала, вечною тайной. Когда же Вы другого мнения, то подумайте, как предупредить отлет».

Доводам этим нельзя было не внять. И петербургские



друзья, безмерно любя Пушкина, прежде всего постарались сохранить его для России.

Михайловский невольник ничего не знал о дружеском заговоре. Ему было досадно и горько.

Тогда у него созрел новый план побега.

## ПЛЕН БУДНЕЙ

Сальные свечи в канделябре рассеивают мерцающий свет. Сгорают они быстро, и тогда от них остаются черные крючки фитилей и на капанные белые сталактиты. Щипцы для снятия нагара вечно куда-то пропадают и, как ни ищет их Александр Сергеевич, в нужную минуту под рукой не находятся. Потому он поспешно хватается за ножницы, а то просто лучинки, которыми няня растапливает печь.

В старом господском доме холодно и неприютно. Печь топят только в комнате Александра Сергеевича, остальные закрыты, так как запас дров скудный и отопить весь дом нечем да и некому.

Трудно дать название этой комнате. Одновременно она служит спальней, кабинетом, столовой, гостиной и даже бильярдной, ибо тут же стоит бильярдный стол.

Партнеров нет. Александр Сергеевич играет сам с собой, загоняет шары в лузы, объявляет дуплеты в угол, делает карамболи, прислушиваясь к стуку шаров и к звуку собственного голоса в гулкой пустоте комнаты.

Он размышляет вслух и читает вслух стихи: так ухо чутко проверяет музыку слов.

«Поэзия, как ангел-утешитель», спасает михайловского отшельника. До поздней ночи, иногда уже в постели, он пишет, перечеркивает написанную страницу, придирчиво исправляет строку или слово. Гусиные перья, очиненные острым ножом до того, что лишь остается короткий обрезок, валяются на столе, в креслах и даже на полу. В задумчивости он грызет верхний конец пера, затем заостряет другой конец и пишет этим огрызком, еле держащимся в пальцах.

Как и герой его романа Евгений Онегин,

В седьмом часу вставал он летом  
И отправлялся налегке  
К бегущей под горой реке;  
Певцу Гюльнары<sup>1</sup> подражая,  
Сей Геллеспонт<sup>2</sup> переплывал,  
Потом свой кофе выпивал,  
Плохой журнал перебирая,  
И одевался...

И так же, как Евгений Онегин,

Носил он русскую рубашку,  
Платок шелковый кушаком,  
Армяк татарский нараспашку  
И шляпу с кровлею, как дом  
Подвижный. Сим убором чуждым,  
*Безнравственным и безрассудным,*  
Была весьма огорчена  
Псковская дама Дурина,  
А с ней Мизинчиков. Евгений,  
Быть может, толки презирал,  
А вероятно их не знал,  
Но все ж своих обыкновений  
Не изменил в угоду им,  
За что был ближним нестерпим<sup>3</sup>.

Поэт избегал докучливых соседей, повадившихся было навещать его от пустого любопытства.

Сначала все к нему езжали;  
Но так как с заднего крыльца  
Обыкновенно подавали  
Ему донского жеребца,

---

<sup>1</sup> Певец Гюльнары — Байрон; Гюльнара — героиня его поэмы «Корсар».

<sup>2</sup> Геллеспонт — древнее название Дарданельского пролива. (Байрон был прекрасным пловцом и однажды переплыл Дарданельский пролив).

<sup>3</sup> Эта строфа выпала из окончательного текста романа. Она сохранилась в белой рукописи.

Лишь только вдоль большой дороги  
Заслыша их домашни дроги,—  
Поступком оскорбясь таким,  
Все дружбу прекратили с ним...

В деревенской глуши только книги остались неизменными друзьями. Большой книжный шкаф недаром занял самое почетное место в комнате Пушкина. С полок шкафа глядят книги по истории, географии, философии, лучшие произведения мировой литературы на французском, английском, немецком, итальянском, латинском и других иностранных языках.

Вот Шекспир и Байрон, они сопутствовали в скитаниях по дорогам Кавказа, Бессарабии, Новороссии. Рядом в щегольском красном сафьяне старинное издание «Божественной комедии» Данте Алигьери. На переплете красуется графский герб бывшего владельца книги: щит с изображением лилий Бурбонов и дельфина. Переплетчик, как истый художник, поставил подпись под своей работой: «Антуан Гомон с улицы де Фуань в доме № 18 — отель Белой королевы в Париже». Всякий раз Пушкин с особенным волнением берет в руки эту книгу.

Его восхищает и редкостное сочинение на латинском языке некоего Маркуса Боксгорна-Зуэриса «Московское государство и его города»; и вышедшая во Франции в 1666 году книга Франсуа Россе «О трагических историях наших дней»; и в разное время изданные произведения Даниэля Дефо. Гордость библиофила — один из немногих сохранившихся экземпляров первого издания «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева. Книга испытала сложную судьбу: после ареста автора и конфискации его произведения она оказалась в тайной канцелярии, оттуда невесть как попала в лавку букиниста, где ее купил Лев Пушкин по просьбе своего старшего брата.

«Пришли книги! Мне нужны книги...» — суть почти всех писем Александра Сергеевича брату в Петербург. По его поручению Лев Пушкин то и дело посещает книжные лавки на Невском и Литейном проспектах и на Большой Морской

улице, часто заглядывает и к известным в столице торговцам иностранными изданиями Беллизару, Ашеру, Грефу, Гаугеру.

Лев Сергеевич еле поспевает выполнять заказы старшего брата, который просит прислать чуть ли не все литературные новинки, выпускаемые в свет двадцатью двумя петербургскими типографиями.

Из всех соседей только к семье Прасковьи Александровны Вульф-Осиповой расположен Пушкин.

Хозяйка усадьбы Тригорское, после второго брака получившая фамилию Осиповой, слывет самым интересным и содержательным человеком во всей округе. Ее живой ум и доброта пленяют поэта.

Привлекают его и жизнерадостные, обаятельные дочери Прасковьи Александровны: Анета, Зизи, Маша, Катя, Алина. Звонкий смех, веселые, беспечные голоса всегда звучат в Тригорском с появлением Пушкина. Его тут все любят. Он даже не знает, кому отдать предпочтение, как разделить свое внимание в обществе, где всем дорог и близок.

Усадьба Тригорское притягательна еще и тем, что здесь центр заговора. Да, самого настоящего заговора, задуманного Пушкиным и Алексеем Вульфом — старшим сыном Прасковьи Александровны.

Дерзкий план побега подсказал Алексей Вульф: он, студент Дерптского университета, исхлопочет заграничный паспорт и увезет с собой Пушкина под видом своего крепостного слуги.

Давно б на Дерптскую дорогу  
Я вышел утренней порой  
И к благосклонному порогу  
Понес тяжелый посох мой...

В этих строках поэт скрыл тайну нового замысла бежать из Михайловского в Дерпт. Оттуда рукой подать до границы...

Фантазия? Ничто не кажется невозможным, когда так рвешься из неволи. Орел, прикованный цепью к скале, готов на все, чтобы расправить крылья и вырваться на свободу.

Но пока возможно «нести посох» только из Михайловского в Тригорское.

Туда две дороги. Верхняя идет парком, мимо большого пруда, окруженного вековыми липами, затем спускается к берегу озера. Нижняя — вьется под холмом, на котором стоит господский дом, потом устремляется вдоль опушки соснового бора. В погожие летние дни Александр Сергеевич предпочитает прохладу пруда и озера, а вьюжной зимой шагает под защитой сосновой стены.

Ходок он неутомимый. Притом ходит с железной, девятифунтовой (около четырех килограммов) палкой в руке. Когда спрашивают: «Зачем такая тяжеловесная дубина?» — отвечает со смехом: «Чтобы рука стала тверже, не дрогнула, если придется стреляться».

Часто, особенно зимой, скачет он верхом на коне в милое сердцу Тригорское. «Конь притупленной подковой, неверный зацепляя лед, того и жди, что упадет».

Идет ли пешком или едет верхом, поэзия — его неразлучная спутница. В одиночестве он привычно «думает стихами» и в такт своим мыслям жестикулирует.

Встречные прохожие поначалу пугались барина в красной рубахе и в широкополой шляпе, бредущего с железным посохом, когда он вдруг среди дороги останавливался и произносил вдохновенно:

Везде передо мной подвижные картины:  
Здесь вижу двух озер лазурные равнины,  
Где парус рыбака белеет иногда,  
За ними ряд холмов и нивы полосаты,  
Вдали рассыпанные хаты,  
На влажных берегах бродящие стада,  
Овины дымные и мельницы крылаты...

Не один крестьянский мальчуган, завидя «думающего стихами» поэта, в страхе бежал прочь, прятался в рожь.

— Что с тобой? — спрашивали его.

— Барин шел, шел, вдруг стал средь пути, будто столб-  
няк на него напал, да как почнет промеж себя на разные  
голоса разговаривать, ажно я испугался.

За Михайловской усадьбой высится холм, поросший гу-  
стым лесом. С него хорошо видны озеро, нивы, луга. Уеди-  
ненная высота полна тишины.

На границе Михайловского и Тригорского, на пригорке,  
одиноко растут три сосны.

Поэт запечатлел их в стихах:

На границе  
Владений дедовских, на месте том,  
Где в гору подымается дорога,  
Изрытая дождями, три сосны  
Стоят — одна поодаль, две другие  
Друг к дружке близко, — здесь, когда их мимо  
Я проезжал верхом при свете лунном,  
Знакомым шумом шорох их вершин  
Меня приветствовал...

С пригорка трех сосен отчетливо вырисовывается берег  
извилистой Сороти, на котором прилепилось Тригорское.

Усадьба семьи Осиповых не похожа на обычные барские  
поместья. Пруды, аллеи парка, фруктовый сад, амбары, ко-  
нюшни, скотные дворы разместились вразброс, как попало,  
ибо строились и сажались от случая к случаю. А дом, где оби-  
тают владельцы, напоминает вытянувшийся в длину сарай.  
Когда-то тут находилась льноткацкая фабрика. Прасковья  
Александровна приспособила это пустующее фабричное по-  
мещение под жилье.

Незатейливые деревянные колонны должны были бла-  
гообразить приземистый дом. Однако украшательские ухищ-  
рения не помогли, и он по-прежнему больше похож на сарай  
или манеж.

Заговорщики обсуждают тут свой побег за границу.

После долгих споров они пришли к выводу, что задуман-  
ный план вряд ли удастся: очень уж «африканский» вид у  
Пушкина, и трудно преобразить его в крепостного слугу пу-  
тешествующего помещика Вульфа.

Алексей Вульф горазд на всякие дерзкие выходки. А поэт, истосковавшийся в неволе, готов на любой рискованный шаг, сулящий освобождение. Неудивительно, что у них созрел другой фантастический план.

— В Дерпте живет друг Жуковского, известный хирург профессор Мойер. Он пользуется всеобщим уважением и огромным влиянием. Сам генерал-губернатор Псковской и прибалтийских губерний маркиз Паулуччи очень считается с ним. Я уговорю профессора, чтобы он испросил у маркиза разрешения на твой приезд в Дерпт для лечения.

Видя, что Пушкин еще не постиг сущности замысла, Вульф пояснил:

— Над тобой, как тяжелобольным, надзора не будет. При первом удобном случае ты сможешь скрыться за границу. Согласен?

Пушкин утвердительно кивнул головой. Оставалось только условиться о подробностях.

— Уговоримся так, — предложил Вульф. — В нашей переписке поведем разговор о коляске, которую я будто бы взял у тебя, чтобы ехать в Дерпт. Если Мойер согласится вызвать тебя из Михайловского, то я сообщу, что коляску высылаю обратно. В случае неудачи напишу, что оставляю ее у себя.

Негаданно заговор принял совсем иной, трагикомический оборот.

Жуковский ничего не ведал о замыслах ссыльного друга. В тревоге за его состояние он попросил профессора Мойера самого отправиться к больному поэту, чтобы на месте сделать ему операцию.

Добрый врач откликнулся на эту просьбу. Немедленно за ним выслали лошадей.

— Что теперь делать?! — схватился за голову Пушкин. — Надо во что бы то ни стало остановить Мойера от напрасной поездки. — Я здоров! Мне лучше. Я поправился...

Ничего не оставалось, как молить почтенного профессора не ехать, не тратить зря времени. В Дерпт помчался верховой с двумя письмами.



Пушкин покаянно обратился к профессору Мойеру: «Сейчас получено мною известие, что В. А. Жуковский писал вам о моем аневризме и просил вас приехать во Псков для совершения операции. Умоляю вас, ради бога, не приезжайте и не беспокойтесь обо мне. Операция, требуемая аневризмом, слишком маловажна, чтоб отвлечь человека знаменитого от его занятий и местопребывания...»

И, отбросив всякую заговорщицкую осторожность, в другом письме Пушкин сообщил дерптскому приятелю о досадном недоразумении. Ему тоже поручалось просить у профессора прощения за напрасно доставленное беспокойство и сказать, что больной не соглашается на хирургическую операцию.

Так бесславно закончилась и вторая попытка побега за границу.

Не принесло успеха и прямое обращение Пушкина к царю отпустить для лечения в Европу. Царь «соизволил» разрешить переехать для лечения в город Псков, и то лишь под надзор губернатора.

Царская милость походила на издевательство.

Это оскорбляло, возмущало. Несмотря на печальный опыт с почтовой цензурой, Пушкин вновь пустился на рискованную откровенность.

С нескрываемой насмешкой он написал Жуковскому: «Неожиданная милость его величества тронула меня несказанно, тем более, что здешний губернатор предлагал уже мне иметь жительство в Пскове; но я строго придерживался повеления высшего начальства. Я справлялся о псковских операторах: мне указали там на некоторого Всеволожского, очень искусного по ветеринарной части и известного в ученом свете по своей книге об лечении лошадей. Несмотря на все это, я решился остаться в Михайловском...»

К счастью, почтовый цензор не приметил или не понял насмешливого тона письма. Иначе автору его опять бы недобровать!

Так одна за другой рушились надежды и терпели неудачу попытки вырваться на свободу.

## КОЛОКОЛЬЧИК...

Кто долго жил в глуши печальной,  
Друзья, тот, верно, знает сам,  
Как сильно колокольчик дальний  
Порой волнует сердце нам.

«В глуши печальной» колокольчик возвещал и страх, и радость. Жандармский фельдъегерь мог вдруг примчаться на почтовой тройке с гремящим под дугой колокольчиком. И с веселым звоном колокольчика мог прибыть неожиданный друг.

Однажды ранним январским утром он зазвучал в Михайловском.

И я судьбу благословил,  
Когда мой двор уединенный,  
Печальным снегом занесенный,  
Твой колокольчик огласил.

Так потом писал Пушкин.

Но в тот миг, когда в еще спавший дом донесся сначала слабый, затем все более явственный звон, тогда можно было только гадать — что он принесет?

С тревожным чувством, как был, в одной ночной рубашке, прямо с постели, босой, Пушкин выскочил во двор.

В морозном воздухе гулко скрипели полозья саней. Во всю прыть к дому мчалась тройка лошадей. На облучке вместо ямщика (только потом объяснилось, что на ухабе он вылетел из саней в снег) стоял, ухватившись за вожжи, кто-то одетый в медвежью шубу, закутанный в высоко торчащий башлык.

Кто он? Разглядеть пока не удавалось. Тройка, гремя бубенцами и звеня колокольчиком, пронеслась мимо крыльца, завязла в сугробах нерасчищенного двора. Лошади тотчас стали как вкопанные. Враз смолкли бубенцы и колокольчик.

Из саней, бросив вожжи слуге, еще оторопелому от этой бешеной скачки, выпрыгнул высокий молодой человек. На ходу он развязал свой башлык, опустил воротник шубы.

Замерзший от ожидания, Пушкин всплеснул руками, воскликнул:

— Пущин! Друг сердечный...

Да, это был он — ближайший друг еще с детских лет, — Иван Иванович Пущин. В одно время они начали учиться в Царскосельском лицее и жили там рядом: Пушкину досталась комната № 14, а Пущину — соседняя, № 13. Друзей разделяла только легкая перегородка, через нее они по ночам переговаривались.

По окончании Лицея поэт написал Пущину в альбом ласковое обращение:

Взглянув когда-нибудь на тайный сей листок,  
Исписанный когда-то мною,  
На время улети в лицейский уголок  
Всесильной, сладостной мечтою.  
Ты вспомни быстрые минуты первых дней,  
Неволю мирную, шесть лет соединенья,  
Печали, радости, мечты души твоей,  
Размолвки дружества и сладость примиренья, —  
Что было и не будет вновь...

Судьба разбросала их. Пущин вступил в гвардию, но прослужил недолго, оборвал блистательно начавшуюся военную карьеру и, повергнув в ужас свою аристократическую родню, сделался мелким судебским чиновником. Зачем, почему? «Хочу, — говорил он, — доказать, что в такой маленькой должности можно прожить с честью».

Пущин бросился к крыльцу, схватил Пушкина в охапку и на руках втащил в дом.

В первый момент они не могли говорить. В растерянности только молча смотрели друг на друга. Обнимались. И снова разглядывали один другого. Пушкин забыл, что он в одной рубашке, босой, а Пущин в тяжелой, обсыпанной снегом шубе. На глазах обоих выступили слезы.

Появление няни Арины Родионовны помогло очнуться.

— Голубчики, что же вы так стоите! Идите, родные, в горницу...

Няня никогда ранее не видела гостя, но сердце подсказало ей, как близок и дорог он Александру Сергеевичу. И няня, не спрашивая ничего, кинулась его обнимать. Пущин тоже догадался, кто эта добрейшая старушка и какую роль она играет в жизни поэта, потому сам чуть не задушил ее в своих крепких объятиях.

— Прямо не верится, что ты приехал. Не верится, что мы опять вместе... — растерянно повторял Пушкин.

Неожиданный приезд друга его взволновал. Он не находил себе места, задавал вопросы отрывисто, невпопад, насколько не заботясь о последовательности и связности своих мыслей.

— Как поживает Кюхельбекер? Помнишь, как Кюхля вызвал меня на дуэль за стишки:

За ужином объелся я,  
Да Яков запер дверь оплошно —  
Так было мне, мои друзья,  
И кюхельбекерно, и тошно!

А помнишь ли ты нашу лицейскую пирушку, когда с помощью дядьки Фомы мы достали рому, яиц и сахару, сделали гоголь-моголь, уплетали его и запивали ромом. Гувернер проведал о нашем «преступлении», доложил инспектору, тот директору, а директор самому министру просвещения. Нас примерно наказали — две недели стояли на коленях во время утренней и вечерней молитвы, а за обеденным столом сидели на самом последнем месте.

Пушкин вспоминал лицейские проказы и шутки — время, казавшееся теперь невозвратно далеким, будто виденным во сне. И, конечно, спросил:

— Дельвиг, как он, что с ним?

Пущин рассказал о судьбе их общего друга, беспечного поэта.

— Он служил в департаменте горных и соляных дел, затем в канцелярии министерства финансов, и там и тут оказался негодным чиновником. Ныне нашел приют в Публичной библиотеке у баснописца Крылова.

— В Лицее смеялись и повторяли мои строчки о нем:

Ха-ха-ха! Хи-хи-хи!  
Дельвиг пишет стихи!

— Никто не предвидел, что он завоюет литературное признание.

— Нет, я всегда ценил его чистый талант. Мы часто толковали с ним обо всем, что «душу волнует, что сердце томит».

С младенчества дух песен в нас горел,  
И дивное волнение мы познали;  
С младенчества две музы к нам летали,  
И сладок был их лаской наш удел...

Сообщив ворох новостей, гость из столицы порадовал и привезенным письмом:

— Тебе письмо от издателя «Полярной звезды».

— Рылеев вспомнил меня! Чудесно!

Пушкин нетерпеливо распечатал полученный конверт. Одаренный поэт, мужественный певец свободы писал: «Рылеев обнимает Пушкина и поздравляет с Цыганами. Они совершенно оправдали наше мнение о твоём таланте. Ты идешь шагами великана и радуешь истинно Русские сердца. И пишу тебе: Ты, потому что холодное ВВІ не ложится под перо; надеюсь, что имею на ЭТО право и по душе и по мыслям. Пушин знакомит нас короче. Прощай, будь здоров и не ленись; ты около Пскова: там задушены последние вспышки русской свободы; настоящий край вдохновения — и неужели Пушкин оставит эту землю без Поэмы».

Пушкин читал и перечитывал каждую строку письма человека, мнение которого ему было необычайно дорого.

Наконец друзья уселись за стол. После кофе задымили трубками.

— Внешне ты почти не изменился, — заметил Пушин. — Вот только оброс бакенбардами. И хоть по-прежнему весел, но в глазах появилась серьезная озабоченность. Видно, пришлось испытать и передумать немало...



— Да, немало...— подтвердил Пушкин.— Ныне я несколько примирился с деревенским бытѣм, поначалу для меня тягостным. Все же тут, хотя и невольно, я отдыхаю от шума и волнений светской жизни. Главное, с музой снова в ладу, опять тружусь усердно.

— Прочти что-нибудь,— попросил Пущин.

— Лучше ты расскажи, что нового в литературном мире. Грибоедов, слышал, написал комедию преотличнейшую — «Горе от ума».

— Цензура ее запретила. Я привез тебе рукописный список.

— Вот удружил!

Пушкин тотчас принялся читать рукопись вслух. Читал с жаром, то и дело прерывая себя восторженными замечаниями.

— Что за стихи!.. Право, половина стихов войдет в половицу!.. Вот черты истинно комического гения!..

Он испытывал ни с чем не сравнимое восхищение. Но внезапно оторвался от рукописи. У крыльца зазвенел колокольчик. Пушкин глянул в окно, смутился, торопливо спрятал запрещенную рукопись в стол, вместо нее схватил чѣты минеи.

— Что это значит? Почему вдруг взял церковную книгу? — недоумевал Пущин.

Александр Сергеевич указал глазами на дверь. В комнату без стука вошел низенький рыжеватый монах. Он быстро оглядел комнату, будто ища икону, затем мелко закрестился в сторону переднего угла.

— Отец Иона — настоятель местного Святогорского монастыря...— предупредительно представил Пушкин.

С преувеличенно серьезным видом он подошел к монаху под благословение и сделал знак все еще недоумевающему Пущину последовать его примеру.

— Небось помешал вам? Прошу простить грешного, но соблазнен был, узнавши случайно фамилию приезжего. Уж не родственник ли, думаю, моего знакомого уроженца великолуцкого?

— Кого изволите иметь в виду? — учтиво обратился Пушкин, смекнув об истинной цели визита гостя.

Шмыгающие, хитрые глаза соглядатая выдавали его с головой: отец Иона актерствовал плохо.

Монах, видно, уже успел пронюхать, что к ссыльному поэту кто-то приехал, и явился разузнать подробности.

— Чайку с ромом не изволите откушать? — предложил Александр Сергеевич.

— Грешен, люблю побаловаться чайком... — скромно ответил монах.

Но, судя по радостно заблеставшим глазкам, угощение его весьма прельщало.

Отец Иона стал пить чай, изрядно сдабривая его напитком из пузатой бутылки. Наконец, не обнаружив ничего предосудительного, он попрощался и удалился восвояси.

— Досадно, что испортил настроение! — заметил Пушкин.

— Приходится терпеть — я поручен его наблюдению.

Пушкин продолжал прерванное чтение.

Время летело незаметно, день клонился к концу. Друзья переговорили о многом, вспомнили минувшее, помечтали о будущем. Беседа коснулась и того, что волновало передовые умы, — положения страны.

Пушкин сообщил, что существует тайное общество, цель которого освободить Россию от гнета самодержавия. И признался:

— Не я один вступил в это новое служение отечеству...

Сказал и осекся: член противоправительственной организации, он не имел права разглашать ее тайны даже самому близкому человеку.

— Верно, все это в связи с майором Раевским, которого пятый год держат в Тираспольской крепости и ничего не могут выпытать? — воскликнул Пушкин.

Возможно, Пушкин предложил бы другу тоже поступить в «новое служение отечеству», но что-то заставило его промолчать. И так он открыл слишком много.

Молчание становилось тягостным.

Услышанное до крайности взволновало Пушкина. «Ссы-

лочный невольник», он был отстранен от общественной жизни. А как страстно ему хотелось, подобно Пущину и остальным передовым людям, отдаться служению родине! Оказывается, существует тайное общество, поставившее перед собой столь благородную цель. Но он вне этого общества...

Пущин не проронил ни слова более. Пушкин первый нарушил молчание.

— Я не заставляю тебя говорить. Может быть, ты и прав, что мне не доверяешь. Верно, я этого не стою по многим моим глупостям.

Пущин поцеловал друга. Они обнялись.

Было далеко за полночь, когда настал миг разлуки. За ужином друзья чокнулись бокалами с шампанским. Взгляды их встретились. Каждому подумалось: «Встреча наша последняя».

Ямщик уже поджидал у крыльца. Колокольчик под дугой неторопливо позвякивал, будто напоминал: «Пора!»

Часы пробили три раза, когда Пущин нашел в себе силы покинуть товарища, которого любил, как никого. Молча накинув шубу на плечи, он выбежал в сени.

Пушкин устремился вслед.

Пущин вскочил в сани. Кони рванули. Заскрипели полозья. В морозном воздухе звонко запел колокольчик.

На крыльце со свечой в руке стоял Пушкин. Крикнул вдогонку: «Прощай, друг!»

Ветер унес его слова...

Посещение Пущина оставило глубокий след в душе поэта. В взволнованных строках он запечатлел это событие:

Мой первый друг, мой друг бесценный!  
И я судьбу благословил,  
Когда мой двор уединенный,  
Печальным снегом занесенный,  
Твой колокольчик огласил.

Молю святое провиденье:  
Да голос мой душе твоей  
Дарует то же утешенье,  
Да озарит он заточенье  
Лучом лицейских ясных дней.

## ДУША НАРОДА

От села Михайловского до Святогорского монастыря рукой подать — верста-другая. Как большинство русских монастырей, которые служили крепостными укреплениями, он расположен на возвышенности. Отсюда хорошо любоваться окружающими лесами, полями, озерами, а в ясный день даже можно различить очертания соседнего города Новоржева.

Пушкин часто бывает здесь. Манит его не только живописная местность. Архивы, которые тщательно изучает Пушкин, открывают ему многие тайны святой обители.

Минувшее проходит предо мною —  
Давно ль оно неслось, событий полно,  
Волнуясь, как море-окиян?  
Теперь оно безмолвно и спокойно...

Чем ближе он знакомится с жизнью монастыря, тем больше она ему кажется удивительной.

Один из указов консистории повелевает иеромонаха Феофилакта «за разные ругательные слова и драку посадить в большую цепь, и содержать его во оном монастыре до недели в той цепи безвыпускно, а сверх того, чтоб ему сие его преступление было чувствительно, и быть ему в черных монастырских трудах».

Другой монах «за вынесение им воровски из келий игумена казенных монастырских денег двухсот рублей да сборных лавочных мелких в трех ящиках девяносто пяти рублей» был приговорен к наказанию кнутом «с вырезанием ему ноздрей, с постановлением на лбу и на щеках знаков и с отсылкою в каторжную работу».

Небезгрешен и нынешний игумен Иона. «Духовный отец», шпионящий за Пушкиным, весьма пристрастен к употреблению спиртных напитков. Недаром уснащает он свою речь прибауткой:

Наш Фома пьет до дна.  
Выпьет, поворотит  
Да в доньшко поколотит.

А братия? Как живут те, кто, отрешась от земной жизни, смиряют свою плоть постом и молитвой?

В первой редакции «Бориса Годунова» сохранилась сцена «Ограда монастырская», которая шла вслед за сценой «Ночь. Келья в Чудовом монастыре». Григорий жалуется старому чернецу:

Что за скука, что за горе наше бедное житье!  
День приходит, день проходит — видно, слышно все одно:  
Только видишь черны рясы, только слышишь колокол.  
Днем, зевая, бродишь, бродишь: делать нечего — соснешь;  
Ночью долгою до света все не спится чернецу.  
Сном забудешься, так душу грезы черные мутят;  
Рад, что в колокол ударят, что разбудят костылем.  
Нет, не вытерплю! Нет мочи. Через ограду да бегом...

В подзаголовке к «Борису Годунову» Пушкин обозначил: «Драматическая повесть». Затем пояснил: «Комедия о настоящей беде Московскому государству». Однако и это показалось ему не точным. Стремясь придать пьесе старину, он назвал ее: «Летопись о многих мятежах». Но и летопись была заменена новым подзаголовком: «Трагедия». И это понятие полностью вместило в себя все предшествующие ему определения.

Знакомство с бытом Святогорского монастыря помогло Пушкину создать живые образы монахов, странников, нищих. В уста некоторых из них поэт вкладывал слова и целые выражения, услышанные им у монастырской братии.

Ярмарка, которая по исстари заведенному обычаю открывается возле Святогорского монастыря на девятой неделе после праздника пасхи, особенно привлекает Пушкина. Где, как не на большом торжище, лучше наблюдать народные обычаи, слушать старинные песни, сказания. Ведь на ярмарку стекаются самые разные люди со всей округи.

Реет флаг на высоком столбе посреди площади. Он возвещает — ярмарка открыта!



Каких только нет товаров в наспех сколоченных лавках, балаганах, ларях, а то и прямо на земле! Глаза разбегаются.

Цветастые ситцы, дорогие фабричные сукна, добротные домотканые холсты и льняные полотна, вина, сласти, сбруя, мед, кожи, глиняные горшки — все к услугам ярмарочных покупателей.

Ржут лошади, привязанные к оглоблям повозок, мычат коровы, блеют овцы, гогочут длинношеие гуси. Бородатый козел уставился желтыми глазами на себе подобное рогатое чудище.

Под хриплые звуки шарманки крутится нарядная карусель. Взмывают к небу качели с парнем-удальцом и красной девицей.

Попрошайничают нищие: «Подайте Христа ради!» Слепец крутит волынку и заунывным голосом гундосит что-то невнятное.

Шумит, гуляет ярмарка. Смех, брань, крики людей, уханье гармошек, треньканье балалаек, трели дудок, голоса птиц и животных — все сливается в единый веселый гомон, над которым плывет долго не смолкающий «бу-уу-ум!» большого монастырского колокола.

В ярмарочном многолюдстве трудно удивить чем-либо. Все же толпа невольно расступается перед странного вида человеком.

Голову его покрывает огромная соломенная шляпа, в руках тяжелая железная палка; бакенбарды, больше похожие на бороду, почти закрывают смуглое лицо. Непомерно длинными ногтями он на ходу счищает кожуру с апельсина, целый пакет которых у него под мышкой.

Помещики, выряженные в праздничные фраки, и купцы в щеголеватых поддевках шарахаются от чудного господина. А он, невозмутимо жуя апельсин, направляется к монастырским воротам, где собрались странники, калики переходящие — нищие слепцы, тянущие нескончаемую песню об Алексее — человеке божьем.

Пушкин прислушивается.

Сморщенный, босоногий старец в лохмотьях сидит на пыльной земле, он шамкает, но можно разобрать стародавнюю песню:

Тебе спасибо, удача, добрый молодец,  
Что носил горюшко — не кручинился,  
Мыкал горькое — сам не печалился.

Александр Сергеевич записывает песню, которую, быть может, вот так же, у седых стен этой обители, пели сто лет назад.

Разбойного вида безрукий детина поет про бедного Лазаря. Пушкин бросает медный алтын в шапку, что лежит перед лишенным былой силы удал-добрым молодцем. Озорно блеснув глазами, он вторит ему и в такт пению дирижирует своей железной палкой.

Было два братца, два Лазаря:  
Один братец — богатый Лазарь,  
А другой братец — убогий Лазарь.  
Пришел убогий к брату своему:  
— Братец ты, братец, богатый Лазарь!  
Напой, накорми, на путь проводи! —  
Выговорил богатый: — Отойти прочь,  
Скверный, отойди прочь от меня!..

Вокруг собирается толпа любопытных.

— С нами крестная сила... Антихрист явился... — шепчет убогая старушка.

— Почто бога гневит, озорничает барин! — подхватывает какой-то горбун.

Но более всех недоволен капитан-исправник, от грозного взора которого не ускользает ни одно подозрительное сборище на ярмарочной площади.

— Поди узнай, кто нарушает порядок! — посылает он старосту.

Придерживая болтающуюся на груди тяжелую медную бляху — непомерный знак своей маленькой власти, староста подбегает к Александру Сергеевичу:

— Его благородие капитан-исправник велели узнать, в каком, мол, звании, чине изволите быть?

— Пушкин! — гласит резкий ответ.

— Вот оно звание, чин! — хохочет безрукий удал-добрый молодец. — Иди доложи господину капитан-исправнику.

В светелке няни не по-летнему прохладно. Сквозь кружевные занавески на окнах и горшки с пышными геранями на подоконниках сюда почти не пробиваются знойные лучи.

Дубовый стол, покрытый домотканой скатертью, сосновый комод и неказистый сундук — изделие старательного, но малоискусного плотника, да расписная старинная прялка — единственная тут нарядная вещь, — вот все скромное убранство светелки.

— Мама, расскажи сказку!

— Экой ты неумимчивый, Александр Сергеевич!

Няня с наигранной строгостью глядит на Пушкина. Он, облокотясь на подушку в пестрядинной наволоке, полулежит на полатах. В свободной руке у него карандаш, который начинает бег по бумаге, когда няня заводит сказки: очень уж она мастерица их сказывать.

— Да небось все уж переслушал, — отнекивается Арина Родионовна. — И о царе Салтане, и о мертвой царевне и семи богатырях то ж... О Кощее бессмертном разве? Нет, забыла я о Кощее бессмертном. Память старушечья вовсе никуда!

Наивно лукавит няня. Она отлично все помнит, не дальше как третьеводни сказывала о Кощее бессмертном. Как он объявил дочери, что смерть его на море-окияне, на острове Буяне, а на острове том дуб растет, в дубе дупло, а в дупле сундук, а в сундуке заяц, а в зайце утка, а в утке яйцо...

Какую сказку ни заводит Арина Родионовна, зачин у нее один: «Как на том ли окияне-море глубоком стоит остров зелен; как на том острову стоит дуб зеленый, от того дуба

зеленого висит цепь золотая, по той по цепи золотой ходит черный кот. Как черный кот во правую сторону идет — веселые песни заводит, как во левую сторону идет — старые сказки рассказывает».

Слушал, слушал Александр Сергеевич этот зачин и однажды обратился к Арине Родионовне:

— Мама, вот как по-моему получается:

У лукоморья дуб зеленый;  
Златая цепь на дубе том:  
И днем и ночью кот ученый  
Все ходит по цепи кругом;  
Идет направо — песнь заводит,  
Налево — сказку говорит...

— Красиво по-новому соединил! — одобрила няня, но все так же продолжала заводить сказки на свой лад, по старинке.

И сейчас она не изменяет присловью, без которого, ей кажется, невозможно обойтись. Пушкин знает это и терпеливо ждет, пока она наконец к сути приступит.

Тихо поскрипывает колесо прялки. Арина Родионовна неторопливо прядет шерсть и в такт своим плавным движениям, чуть нараспев зачинает:

— Пошел поп на базар искать работника. А навстречу ему Балда. «Пойдешь ко мне в работники?» — спрашивает поп. «Согласен! — отвечает Балда. — Только плату возьму высокую». — «Какую?» — спрашивает поп. «Три щелка тебе в лоб!» Рад-радехонек поп, что так дешево нанял работника, и говорит о том жене, а она ему в ответ: «Смотри, каков будет щелк...»

Александр Сергеевич любит слушать нянины сказки. Сколько в них мудрой простоты и поэзии! Он быстро и торопливо записывает: «Балда дюж и работащ, но срок уже близок, а поп начинает беспокоиться. Жена советует отослать Балду в лес к медведю, будто бы за коровой. Балда идет и приводит медведя в хлев. Поп посылает Балду с чертей оброк собирать. Балда берет пеньку, смолу да дуби-

ну, садится у реки, ударил дубиной в воду, и в воде охнуло».

Няня так же неторопливо рассказывает.

— Кого я там зашиб? Старого или малого? — спрашивает Балда.

— Чего тебе надо? — вылезает старый черт.

— Оброк собираю.

— Я вот внука тебе пришлю для переговоров.

Сидит Балда, веревки плетет да смотрит, ждет. Вдруг бесенок выскакивает. Спрашивает:

— Что ты, Балда, делаешь?

— Вот стану море морщить да вас чертей корчить.

Бесенок перепугался. Старый черт ему подсказывает: «Скажи Балде, что тот заплатит оброк попу, кто вот эту лошадь не обнесет три раза вокруг моря».

Первым попробовал обнести бесенок. Но не смог! А хитрый Балда скок на лошадь и верхом объехал вокруг моря.

Бесенок кричит старому черту:

— Ах, дедушка, Балда не только в охапку, но между ног обнес лошадь!

А у старого черта уже новая выдумка: «Кто прежде обещит вокруг моря?» Балда лишь усмехается: «Куда со мной равняться? Да мой меньшей брат обгонит тебя, бесенок, не то что я». — «А где меньшей брат?»

У Балды в мешке два зайца. Одного он пустил, а когда бесенок, запыхавшись, обежал море, Балда уже гладит другого да приговаривает: «Устал ты, бедненький братец, три раза обежал море».

Пушкин еле поспевает записывать: «Балда у царя. Дочь одержима бесом. Балда под страхом виселицы берется вылечить царевну... берет с собою орехи железные и старые карты да молоток — знакомого бесенка заставляет грызть железные орехи; играет с ним в щелчки и бьет бесенка молотком. На другую ночь то же. На третью делает куколку на пружинах, у которой рот открывается. «Что такое, Балда?» — Пить хочет — ...всунь ему свою дудочку в рот. Бесенок пойман, высечен и проч.».

Няня склонилась над прялкой. В светелке тихо, лишь в углу за печью засвистел сверчок. Уютный треск его не нарушает тишины и покоя.

— Ну, а теперь спой, мамушка, — просит Пушкин.

Арина Родионовна не заставляет долго упрашивать. Под стать сверчку поет она уютно и просто:

Как на утренней заре, вдоль по Каме по реке,  
Вдоль по Каме по реке лодочка идет,  
Во лодочке гребцов ровно двести молодых.  
Посреди лодки хозяин, Стенька Разин атаман...

Не впервой слышит эту песню Александр Сергеевич, но всякий раз чутко вникает в ее слова. Ну конечно, Стенька Разин не разбойник, как представляли его те, кто так трепетал перед его грозной силой. Народ чтит его как своего заступника и видит в нем бесстрашного героя.

— Послушай, как твоя песня у меня получается! — улыбается Пушкин.

Как по Волге-реке, по широкой  
Выплывала востроносая лодка,  
Как на лодке гребцы удалые,  
Казачи, ребята молодые.  
На корме сидит сам хозяин,  
Сам хозяин, грозен Стенька Разин...

— Уж чего лучше... — похваливает няня. — Небось о попе и работнике Балде тоже на свой лад соединишь?

Лето 1826 года выдалось знойное. На небе подолгу не было ни облачка, а если и появлялась заблудшая тучка, то тут же исчезала, не уронив ни капли.

Время в Михайловском будто остановилось. Вынужденная отрешенность от общей жизни все более томила «ссылочного невольника». Пока он находился в деревенском заточении, грозные события потрясли страну.

На Сенатской площади в столице взбунтовались гвардейские полки — оплот царской власти. Престол зашатался. Царь Николай Первый, только что вступивший на этот шаткий престол, с невиданной жестокостью подавил мятеж.



Тень виселицы нависла над Россией. Лучшие сыны ее были отправлены на каторгу в Сибирь. Скольких близких друзей лишился Пушкин!

Оставаться «в глуши печальной» было больше невмочь. И Пушкин обратился к Николаю Первому с прошением позволить ему выехать из деревни для лечения.

Началась канительная казенная переписка — сущая бумажная метель.

Петербургское начальство предписало местным властям удостовериться о состоянии здоровья поэта. Во исполнение сего инспектор псковской врачебной управы выдал справку: «По предложению г. псковского губернатора свидетельствован был в псковской врачебной управе г. коллежский секретарь Александр Сергеев сын Пушкин, при чем оказалось, что он действительно имеет на нижних оконечностях, а в особенности на правой голени повсеместное расширение кровезовратных жил... от чего г. коллежский секретарь Пушкин затруднен в движении вообще...»

К заключению не очень грамотного лекаря прибавилось донесение секретного агента. Ссылаясь на допрошенных им людей, он сообщал начальству, что Пушкин пишет всякие пустяки, что в голову придет, а в дело ни в какое не вмешивается.

Агент полиции несколько смущен был лишь тем, что поэт «...на ярмонках монастырских иногда показывался в русской рубашке и в соломенной шляпе...», а в остальном вполне благонадежен и живет скромно, «как красная девка».

Так прошение «ссылного невольника» обрастало ворохом всяческих канцелярских отношений, циркуляров, предписаний. В дело вмешивалось все большее число различных правительственных учреждений.

Наконец к осени псковский губернатор получил от начальника главного штаба барона Дибича секретное письмо: «...По высочайшему государя императора повелению, следовавшему по всеподданнейшей просьбе, прошу покорнейше ваше превосходительство находящемуся во вверенной вам губернии чиновнику 10 класса, Александру Пушкину, позво-

лить отправиться сюда при посылаемом вместе с ним нарочным фельдъегерем. Г. Пушкин может ехать в своем экипаже свободно, не в виде арестанта, но в сопровождении только фельдъегеря; по прибытии же в Москву имеет явиться прямо к дежурному генералу главного штаба его императорского величества».

Пришла долгожданная свобода! Но дарована она была по царски: под конвоем фельдъегеря. Да и само ее объявление походило скорее на арест.

В тот день Александр Сергеевич загостевался в Тригорском. В доме Осиповых, как всегда, не смолкали шутки и смех. Только поздно вечером хозяева простились с дорогим гостем.

Луна уже закатилась, когда он вернулся в Михайловское.

— Ишь, полуночничает! Давно почивать пора... — проворчала няня, открывая дверь своему любимцу.

Пушкин лишь улыбнулся на привычную воркотню и вскоре услышал, как Арина Родионовна принялась читать молитву, сочиненную на Руси еще в стародавние лютые времена Ивана Грозного: «Об умилении сердца владыки и укрощении духа его свирепости».

Наконец затихло и в няниной светелке. Только за печкой не умолкал сверчок.

Едва уснула усадьба, как всех разбудил сердитый лай Полкана. К крыльцу, звеня бубенцами, подкатила фельдъегерская тройка. Из запыленного возка выскочил офицер в голубой жандармской форме.

В медной каске с высоким шишаком, гремя тяжелой саблей и шпорами, он ввалился в дом и громогласно возвестил:

— По повелению его императорского величества господину коллежскому секретарю Пушкину надлежит следовать за мною...

— Когда?

— Немедля...

Устрашающий вид жандармского офицера поверг обитателей Михайловского в трепет. Плач Арины Родионовны и

причитания сенных девушек заглушили слова утешения, которые пытался вымолвить Пушкин.

Вся дворня собралась проводить молодого барина в неведомый путь.

— В Сибирь увозят...— раздавались угрюмые голоса.

Признаться, сам Александр Сергеевич не был уверен, что его не ожидает участь, постигшая многих близких ему людей.

Наскоро, кое-как собравшись, он сел в возок. Жандарм, все так же громыхая своими доспехами, расположился рядом.

— Пшел! — зычно крикнул он ямщику.

Тройка помчалась.

Так тревожной темной ночью началась свобода поэта...

# ЗАПИСКИ ОХОТНИКА



## КРЕПОСТНОЕ ГНЕЗДО

**О**тец Ивана Сергеевича Тургенева — офицер кирасирского полка, красавец и щеголь — женился по расчету. В приданом за невестой числилось до ста тысяч десятин земли да крепостных пять тысяч душ. Изрядное состояние даже по тем временам, когда рабский труд ни во что не ценился.

Брак не был счастливым. Сергей Николаевич и Варвара Петровна Тургеневы, уже имея трех сыновей, разошлись. А вскоре Варвара Петровна овдовела.

Неудачно сложившийся брак ожесточил ее и без того суровый характер. И на страшном фоне крепостных нравов она прославилась самодурством и беспощадностью. Даже собственные дети испытывали тяжесть ее неограниченной власти. Что же тогда говорить о бессловесных, бесправных «душах», находившихся в рабстве.

Помещица завела порядки самодержавные. Полсотни слуг были ее придворными. Самые приближенные из челяди назывались министрами и камергерами. Так, дворецкий находился в ранге министра двора. Мальчуган Гаврюшка получил звание министра почты. В обязанность его входило веселым звоном извещать о прибытии почты и играть грустную мелодию на рожке, когда оказывалось письмо с траурной черной каймой.

Некоторые слуги обучались французскому языку, чтобы выполнять личные поручения госпожи. В Спасском даже имелась своя полиция из отставных гвардейских солдат. Существовала и «тайная полиция» из домашних сплетников и наушников, которых возглавляла отвратительная старуха Прасковья Ивановна — любимица барыни.

Не только простая дворня, но и барские дети бывали жертвами ее наговоров. Особенно доставалось младшему — Ивану, когда он вступался за несправедливо обиженных.

— Ишь, нашелся заступник! Я тебя отучу лезть не в свое дело! — ворчала старуха и всячески поносила юного поборника правды.

Варвара Петровна целиком доверялась своей «тайной полиции» и не скупилась на наказания родного сына. Ни слезы, ни уверения — ничто тогда не спасало его от порки розгами.

— За что? За что? — плакал несчастный.

— Упорствуешь?

— Не виноват я ни в чем...

— Тебе лучше о том знать. Догадайся! Еще сечь будут, пока не покаешься.

Все должны были покоряться злонравной помещице. Противившихся ее воле секли, отдавали в солдаты, ссылали в дальние деревни.

Сын помещицы ощущал себя не менее несчастным, чем те, чья жизнь целиком зависела от чужой прихоти. Разница между ними была лишь в том, что крепостных наказывали на конюшне, а его пороли на барском дворе.

В душе его навсегда оставил след такой случай. Однажды,

уже будучи студентом Петербургского университета, он приехал на каникулы в Спасское. Шестнадцатилетний студент стал теперь гордостью матери. При нем она несколько смиряла свой крутой нрав. Оттого обитатели усадьбы особенно радовались появлению молодого барина — неизменного своего заступника.

И на этот раз Ивану Тургеневу пришлось выступить в своей доброй роли. Однако его вмешательство чуть не кончилось плохо для него самого.

Студент после радостной встречи с близкими и друзьями спросил:

— А где Луша?

Наступило тяжкое молчание.

— Почему молчите? Неужели заболела, умерла?

— Н-нет...— кто-то ответил робко.— Но барыня приказали отрезать ей косу, собираются продать ее Медведихе...

— Продать Лушу страшной Медведихе? Ни за что!

Иван побежал к матери.

«Чтой-то теперь будет? — в ужасе шептали и крестились дворовые люди.— Не приведи бог, как разгневается барыня».

К своей сверстнице Луше Иван был очень привязан. Дочь крепостных крестьян, она была взята в услужение к барыне. Ваня Тургенев обучил ее грамоте, тайком давал ей читать книги из усадебной библиотеки. Луша поражала всех своим разумом и способностями. И характера она была на редкость прямого и смелого.

Незадолго до приезда Ивана домой Луша допустила невиданную дерзость, возмущившую барыню. В тот день на конюшне нещадно пороли розгами мальчугана Гаврюшку — «министра» — за то, что он запоздал возвестить колокольчиком о прибытии почты. Бедняга не был повинен в этой оплошности, так как прибывшую почту ранее взял дворецкий и сам вручил барыне.

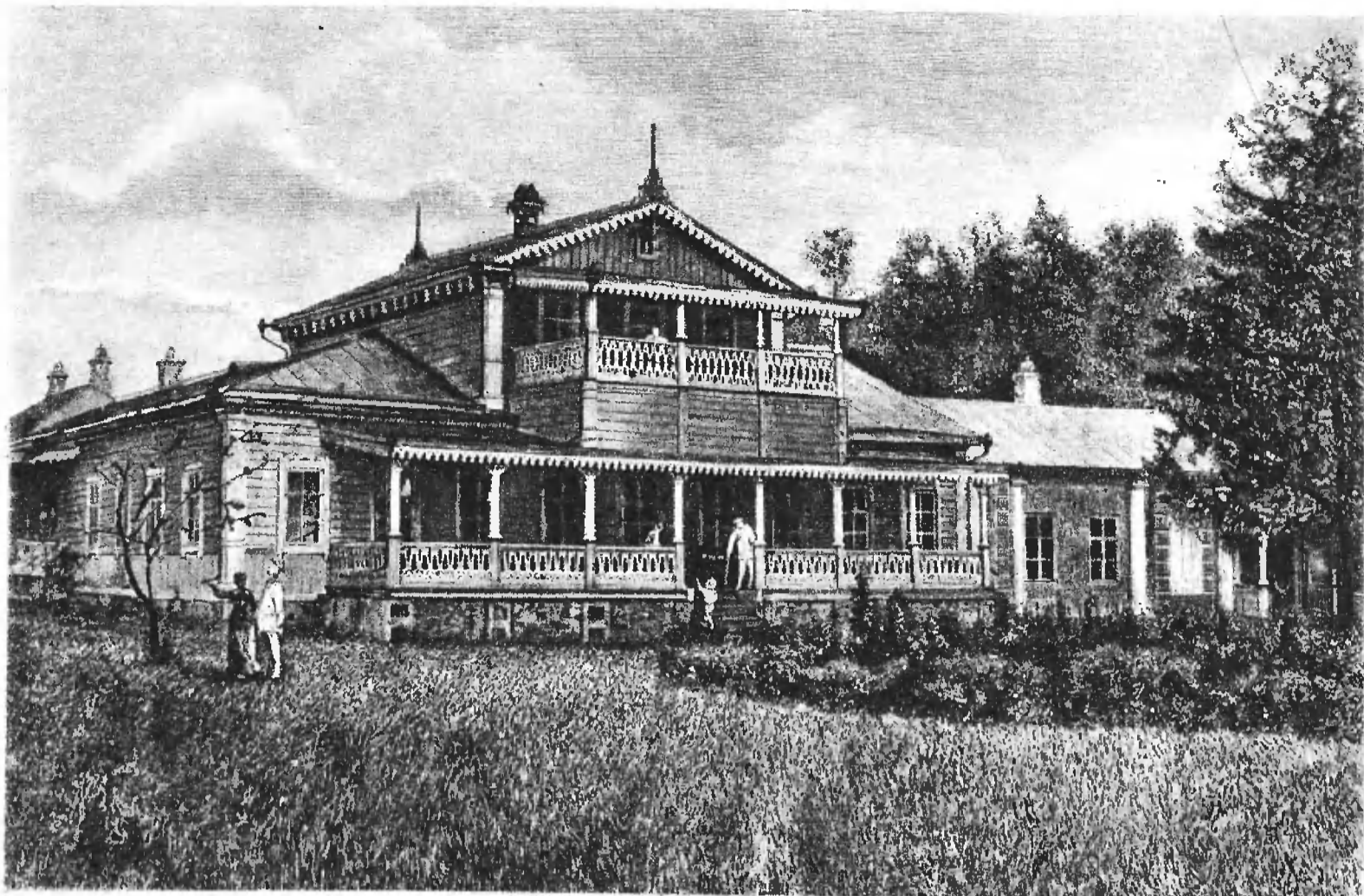
Все это пояснила Луша Варваре Петровне, вступаясь за мальчугана.

— Дворовая девка смеет меня учить! — не стерпела

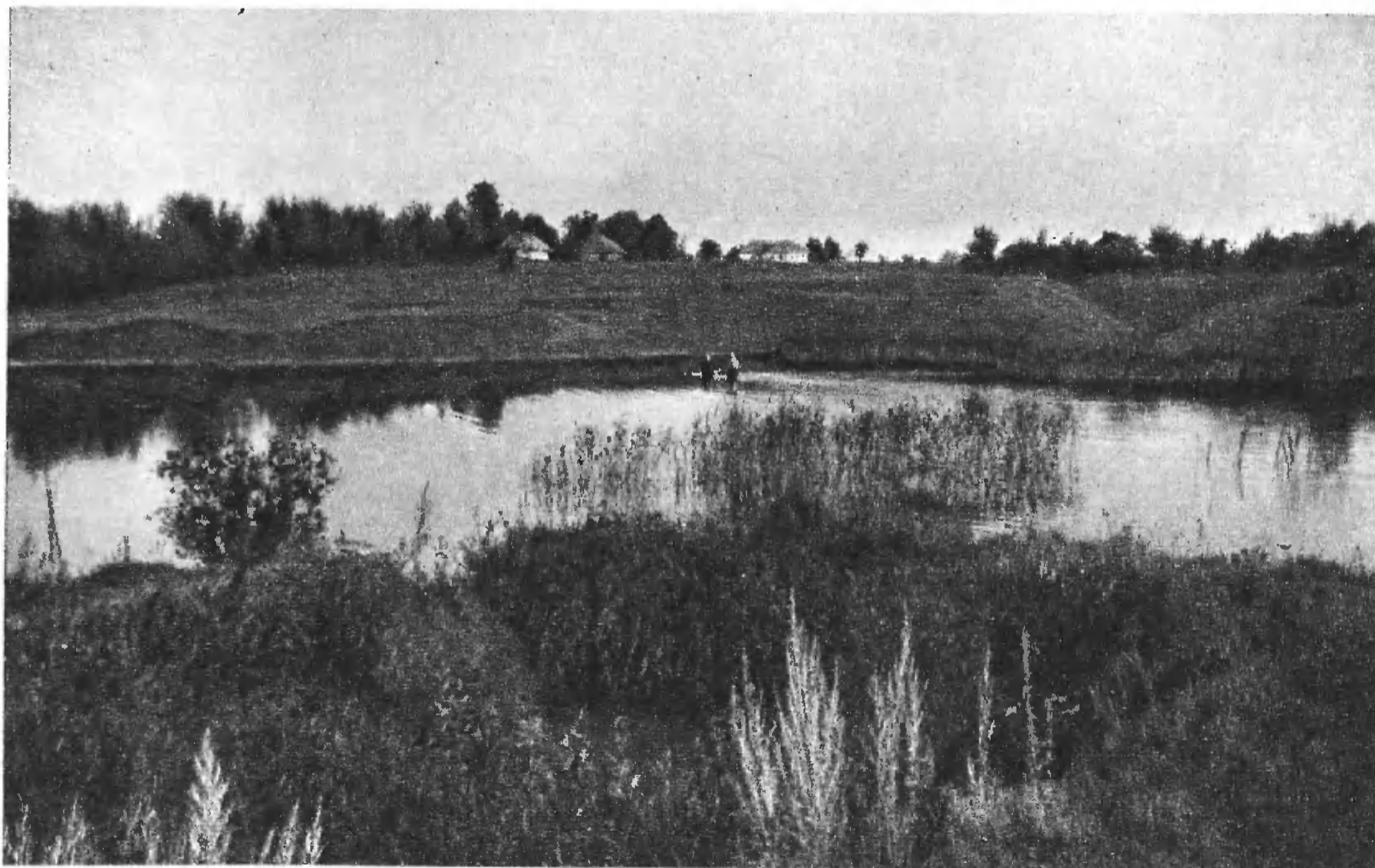




Иван Сергеевич Тургенев.  
*С портрета работы К. Горбунова. 1838 год.*



*Дом-усадьба в Спасском-Лутовинове.  
Гравюра М. В. Рашевского с фотографии В. А. Каррина. 1883 год.*



*Спасское-Лутовиново. Окрестности.*



И. С. Тургенев.

*С портрета работы неизвестного художника. 1830 год.*





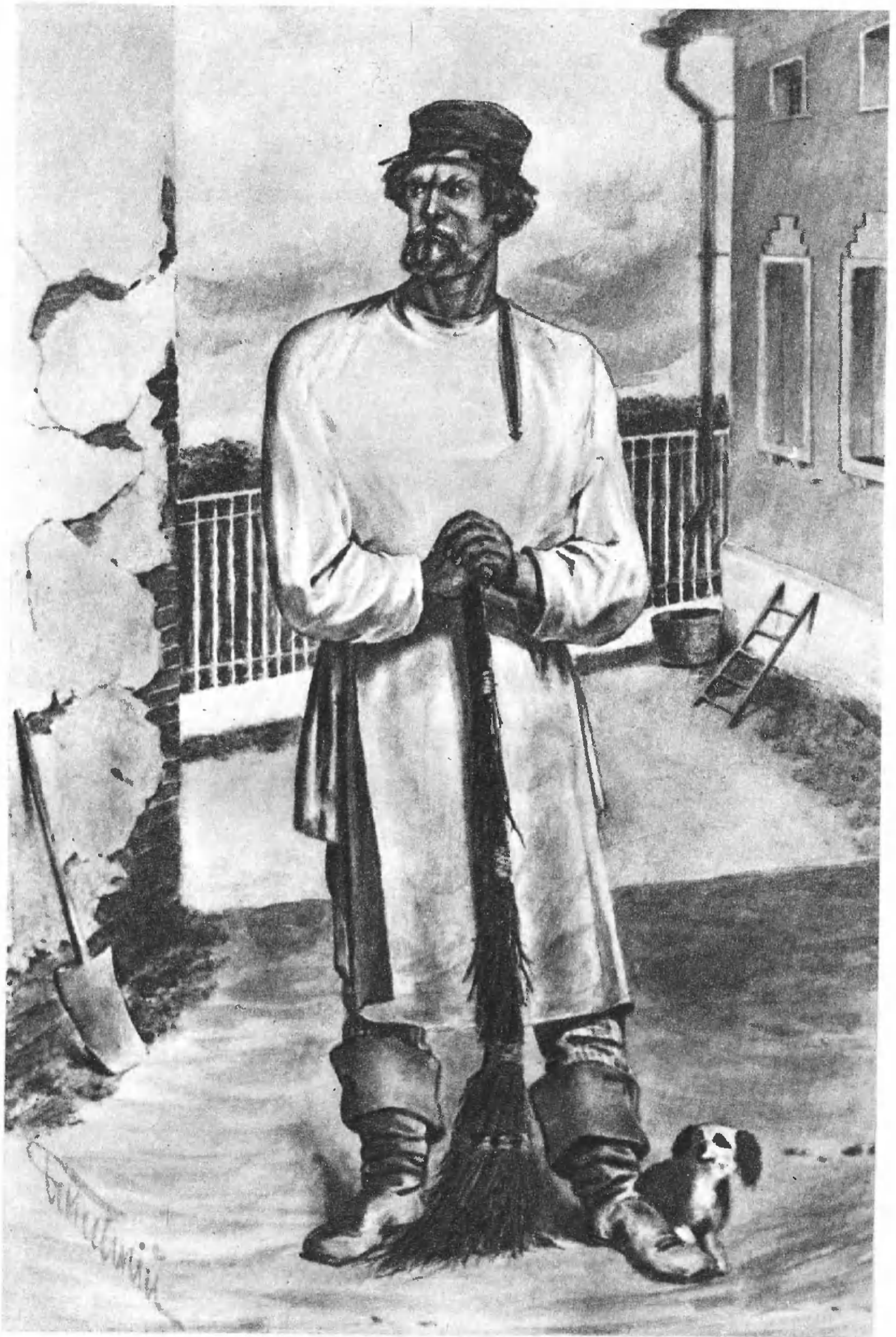
Варвара, Петровна Лутовинова,  
мать писателя.

*С портрета работы неизвестного  
художника.*



Сергей Николаевич Тургенев,  
отец писателя.

*С портрета работы неизвестного  
художника.*



Герасим.

*Иллюстрация П. М. Боклевского к повести «Муму».*

874

Дело № 3542

№ 327

АРХИВНОЕ

№ 21

**Д В Л О**

По отношению Графа, С. а. <sup>бывш.</sup> ~~бывш.~~   
ирина Ивана Тургенева на родную в   
своем ~~своем~~ / по высочайшему повелению

Зам. Помята И. С.

Начало: 18 Января 1852 года.

Решено: 19 Мая 1853 года.

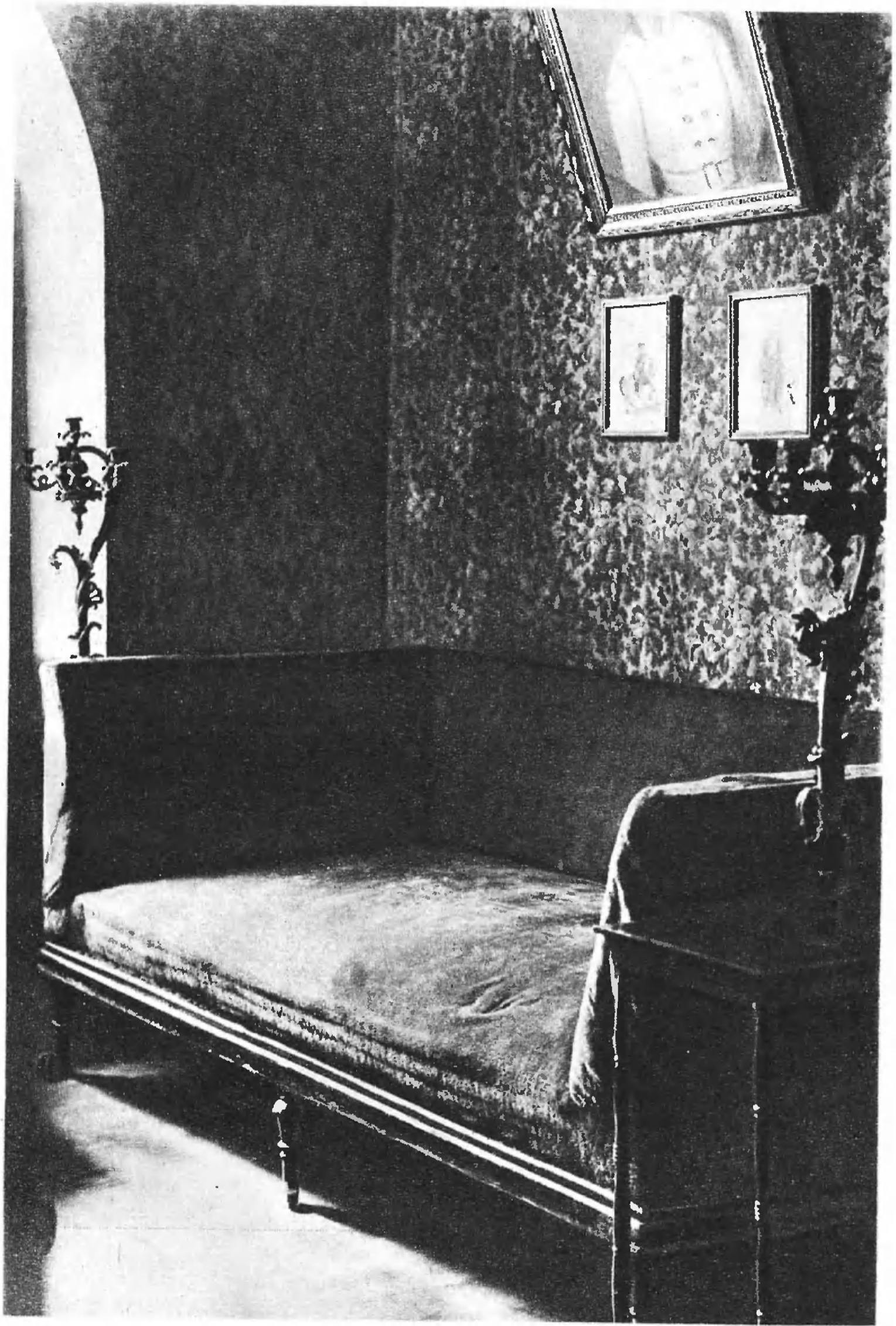
Содержит 2

Статьи 2.

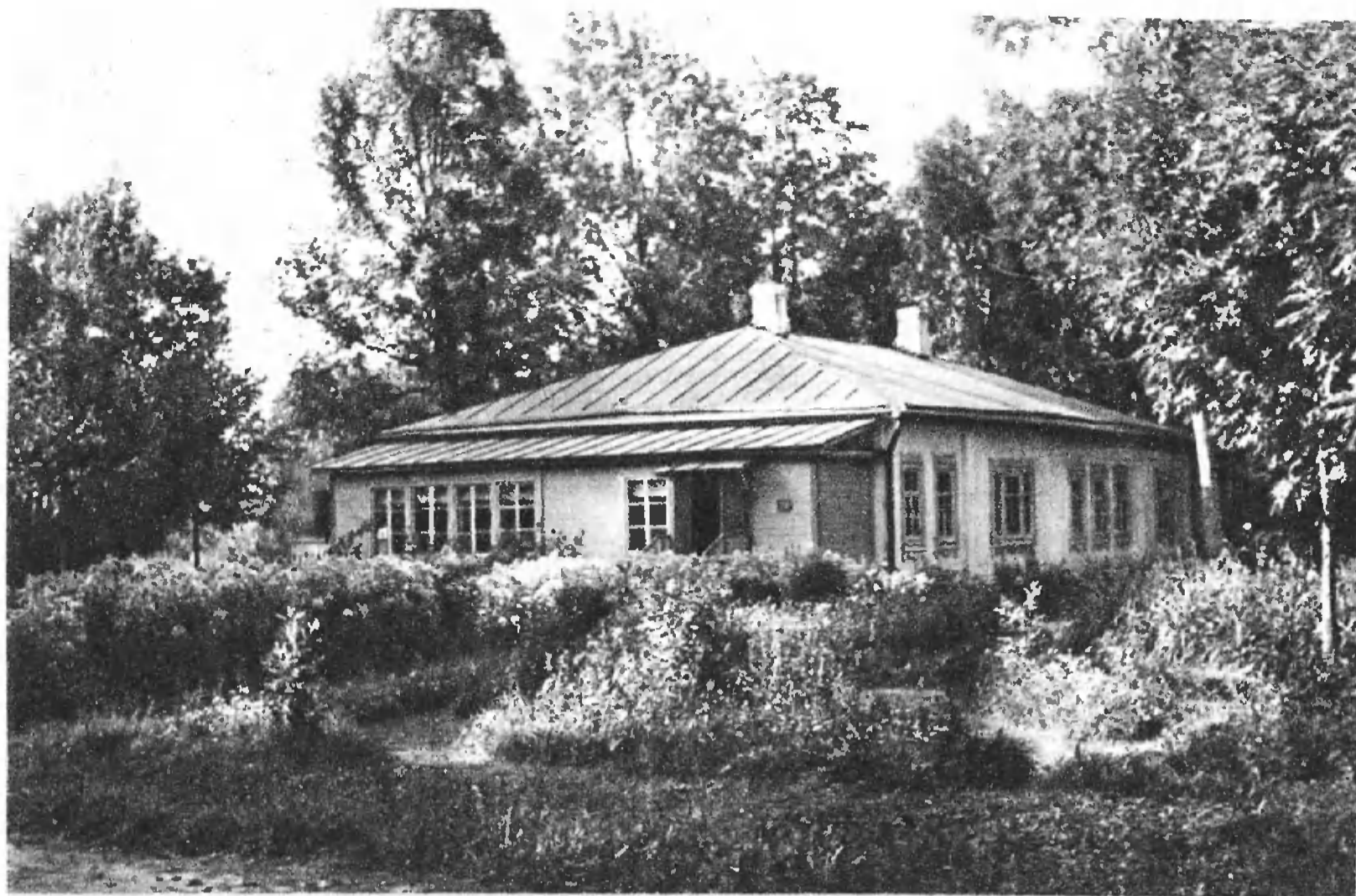
На 4 листах

Дело о высылке И. С. Тургенева в Спасское-Лутовиново.





Диван-самосон.



«Флигель изгнанника».



«Аллея ссыльного».





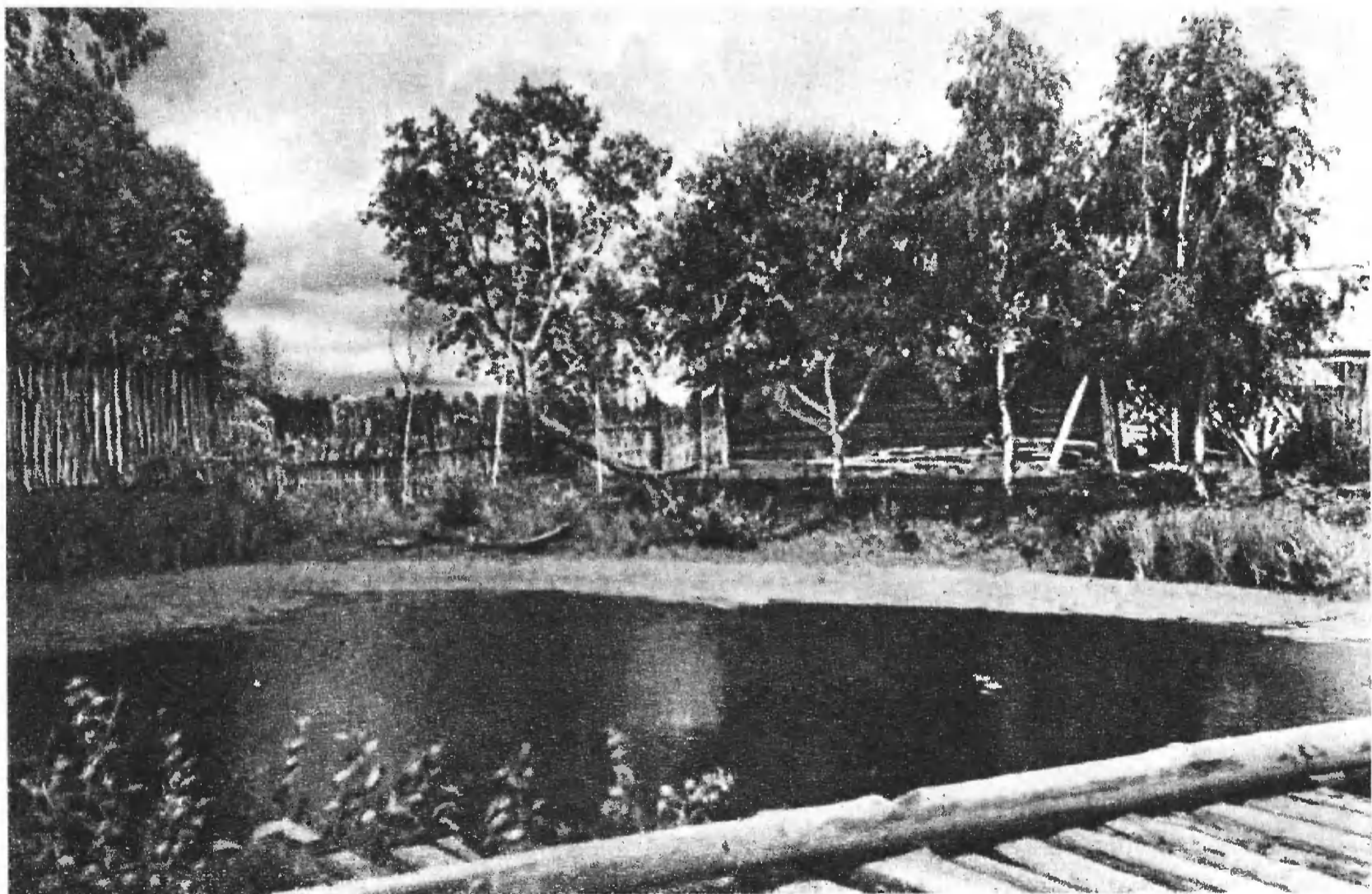
Бежин луг.



*Иллюстрация К. Лебедева к рассказу «Бежин луг».  
1883 год.*



Пруд в селе Льгов.



Хорёвка — место, где была мельница Хоря.



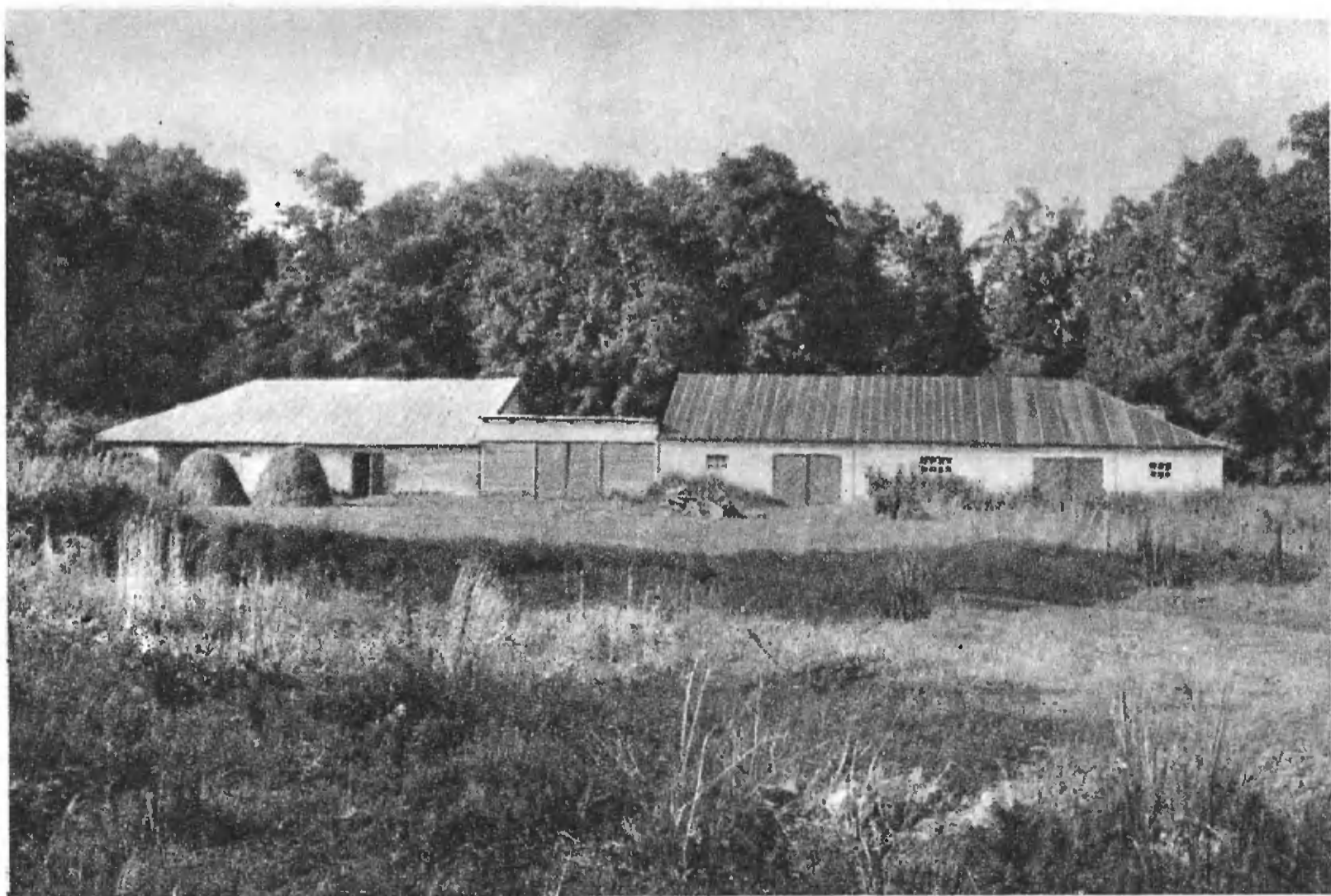


Калиныч.  
Иллюстрация А. Чернышева к рассказу  
«Хорь и Калиныч». 1847 год.

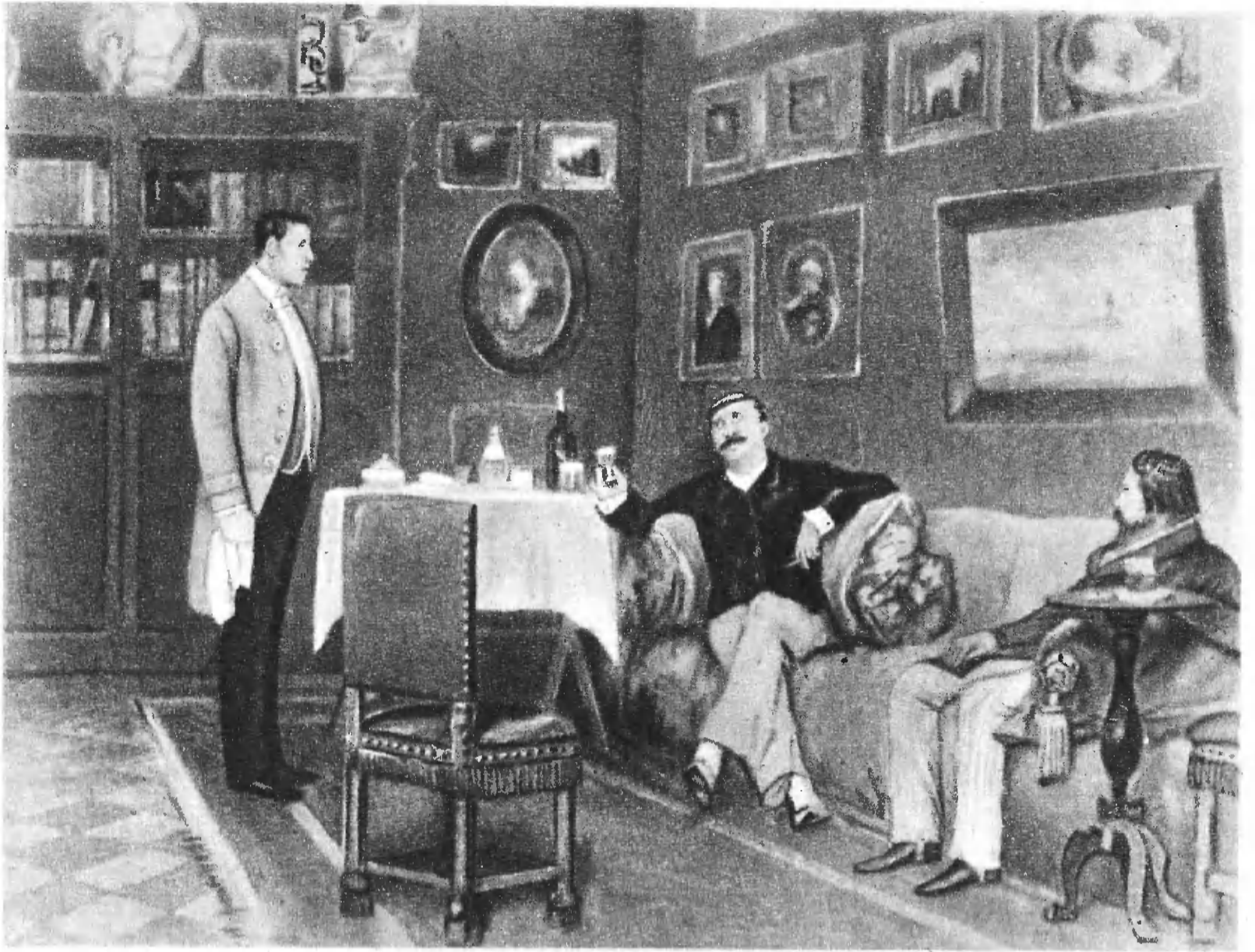




*«Хорь и Калиныч».  
Иллюстрация П. Соколова.*



*Конюшня в Спасском-Лутовинове, где часто наказывали крепостных.*

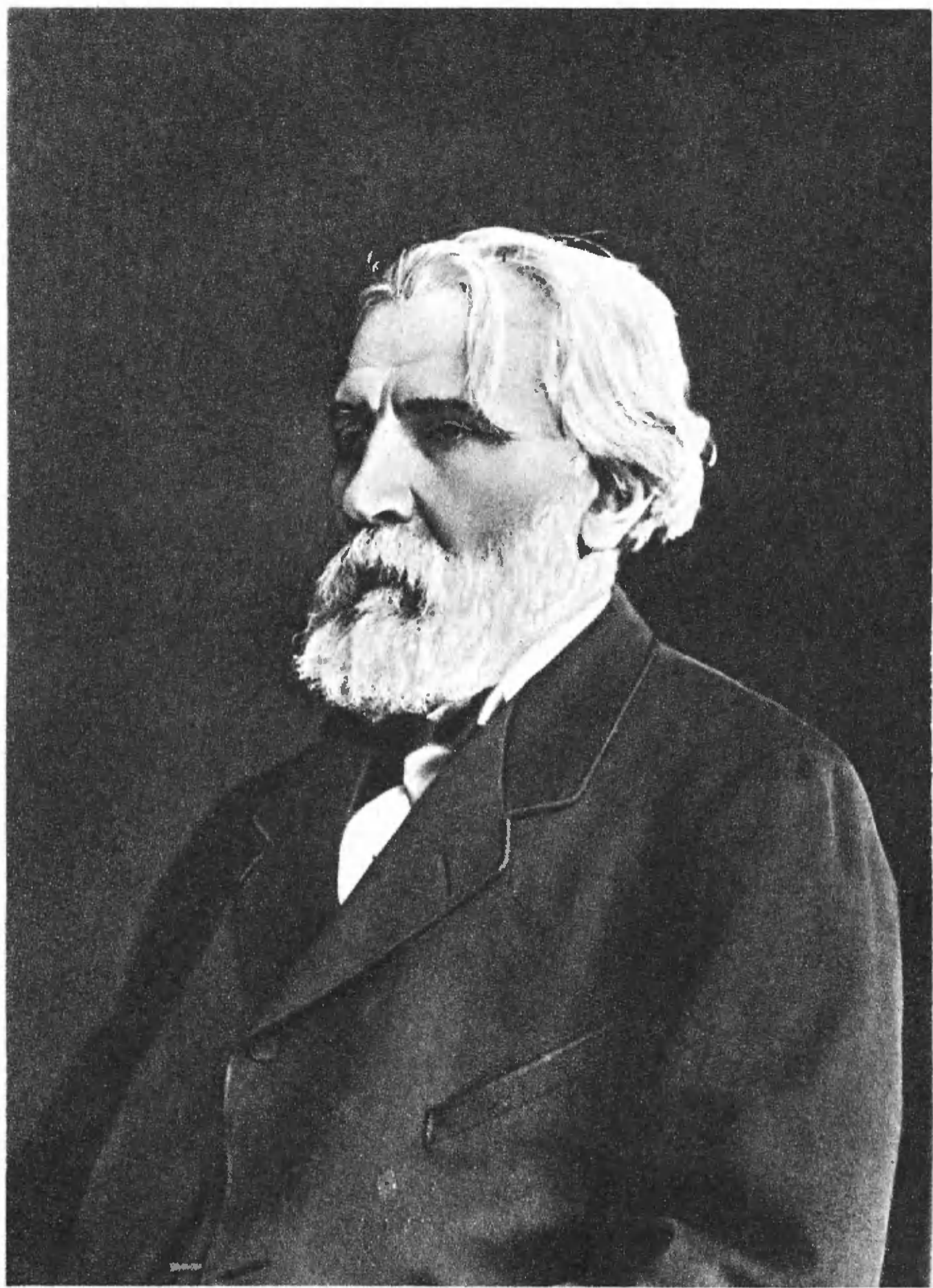


«Бурмистр».  
*Иллюстрация П. Соколова.*



Ключ «Малиновая вода».  
Иллюстрация К. Лебедева. 1883—1884 гг.





Иван Сергеевич Тургенев.  
*Фотография А. И. Бергамаске. 1874 год.*

вмешательства Варвара Петровна. И разгневалась еще больше: — Отрезать мятежнице косу и высечь ее на конюшне!

Только в виде особого снисхождения барыня смягчила наказание: приказала продать девушку помещице Медведихе, прозванной так за необычайную лютость.

В таком положении студент Тургенев нашел друга своего детства.

— Не допущу варварства! — решительно заявил он матери. — Не позволю продавать Лушу! Не скотина она — человек, как я, вы и прочие люди.

— Равнять дворовую девку со мной?! Родной сын против матери пошел... Да это бунт!

Ослепленная гневом Варвара Петровна пригрозила сыну обратиться к властям.

Угрозу ее выполнила Медведиха. Проведав, что молодой Тургенев стал на защиту Луши, она заявила в полицию: «Барин и его девка бунтуют».

Для усмирения «бунтовщиков» прибыл полицейский исправник в сопровождении понятых и потребовал выдать крепостную:

— Все равно возьмем ее и выпорем как сидорову козу!

— Стрелять буду во всякого, кто выдаст Лушу! — крикнул молодой барин и в сердцах вскинул охотничье ружье на полицейского.

Варвара Петровна в ужасе, что сын учинит кровопролитие, приказала исправнику отступить и пообещала:

— За девку я заплачу Медведихе.

Однако полицейский не успокоился и затеял в губернии «Дело о буйстве помещика Мценского уезда Ивана Тургенева». Кляузное дело затянулось на годы. После долгой волокиты дошло до самого царя. Прекратили его за давностью обвинения по царскому соизволению.

В пословице говорится: «Яблоко от яблони недалеко падает». Не всегда справедливы эти слова. Сын Варвары Петровны не унаследовал ее злого нрава. Наоборот, все, что

приходилось ему видеть вокруг, возбуждало в нем чувство отвращения, негодования.

«Я не мог дышать одним воздухом, оставаться рядом с тем, что я возненавидел... Мне необходимо нужно было удалиться от моего врага затем, чтобы... сильнее напасть на него... враг этот был — крепостное право. Под этим именем я собрал и сосредоточил все, против чего я решился бороться до конца — с чем я поклялся никогда не примириться...»

Окончив Петербургский университет, Тургенев отправился в Германию для завершения образования.

Русский студент за границей все более укреплялся в решимости исполнить данную клятву.

Оружие художника — его искусство. Рассказ Тургенева «Хорь и Калиныч» привлек широкое общественное внимание, когда Н. А. Некрасов и В. Г. Белинский опубликовали его в своем журнале «Современник».

Успех придал силы начинающему писателю. Он написал целую серию замечательных рассказов и очерков. Это были правдивые, страшные картины крепостного рабства. Под общим названием «Записки охотника» автор издал их в 1852 году.

Лучшие люди страны высоко оценили «Записки охотника». Н. Г. Чернышевский, критик весьма придирчивый, сказал автору: «Ни одна книга не производила такого восторга». Уже согретый лучами славы, Л. Н. Толстой признался: «Читал «Записки охотника» Тургенева, и как-то трудно писать после него».

Зато российские крепостники грозились всяческими карами. Главный крепостник — царь Николай Первый — приказал дознаться, как могла появиться столь опасная книга. Следователи пришли к заключению, что, во-первых, автор, как человек обеспеченный, издал свою книгу не ради денежных выгод, а имея злонамеренные противоправительственные цели; во-вторых, автор стремился доказать, что крестьяне «находятся в угнетении, что помещики наши ведут себя неприлично и противозаконно, что сельское духовенство раболепствует перед помещиками, что исправники и другие



власти берут взятки... что крестьянину жить на свободе привольнее, лучше».

Царю доложили, что писатель издевается над помещиками, выставляя их пошлыми дикарями и сумасбродами, показывая их «или в смешном и карикатурном, или, еще чаще, в предосудительном для их чести виде».

Повторное издание «Записок охотника» было строго запрещено. Цензор, допустивший книгу к печатанию, был отстранен от должности без права поступать на службу в цензурное ведомство. А вскоре и сам автор книги подвергся суровому наказанию. Поводом для того послужил его отклик на смерть Гоголя, напечатанный в «Московских ведомостях»: «Гоголь умер!.. Какую русскую душу не потрясут эти слова? Потеря наша так жестока, так внезапна, что нам все еще не хочется ей верить... Да, он умер, этот человек, которого мы теперь имеем право, горькое право, данное нам смертью, назвать великим; человек, который своим именем означил эпоху в истории нашей литературы, человек, которым мы гордимся, как одной из слав наших!»

В этих прочувствованных строках не содержалось ничего предосудительного.

Разве автор «Мертвых душ» и в самом деле не был великим?

Разве русские люди не испытывали величайшую скорбь, прощаясь с тем, кто умножил славу народную?

Все же жандармы придрались к Тургеневу, обвинив его в нарушении требований цензурных. Управляющий Третьим отделением «собственной его величества канцелярии» Дубельт предложил сделать Тургеневу строжайшее предупреждение. Шеф жандармов Орлов, в свою очередь, нашел необходимым учредить за писателем секретное полицейское наблюдение.

Однако царь на представленном ему докладе наложил резолюцию:

«Полагаю, этого мало, за явное ослушание посадить его на месяц под арест и выслать на жительство на родину под присмотр».

## ВСТРЕЧА С ПРОШЛЫМ

Орловский губернатор получил из столицы секретное уведомление: «8 июня 1852 года. Государь Император повелеть соизволил: жительствующего в С.-Петербурге помещика Орловской губернии Ивана Тургенева за ослушание выслать на родину под присмотр». Грозную депешу подписал сам министр внутренних дел.

С таким напутствием Иван Сергеевич Тургенев возвращался в родные места.

Имение Спасское, полученное им по наследству от матери, находилось в верстах семидесяти от Орла, вблизи уездного городка Мценска. Вот там ему и предстояло состоять «под присмотром».

Заморенные почтовые лошади усталой рысцой влекли тарантас по пыльному тракту. Ямщик напрасно подергивал вожжами, взмахивал кнутом над их взмыленными спинами. Летнее солнце нещадно жгло, лошадей совсем разморило. От каждого понукания они только отмахивались головой, отчего резко вздрагивал и звякал под дугой колокольчик.

— Кабы дождь не собрался, — вымолвил ямщик.

Парило и становилось душно, как всегда бывает перед сильной грозой. Даже когда дорога из степного простора втиснулась в густой лес, не стало легче. Но вот ветер задел вершины деревьев. Засвежело. Гроза приближалась. Облака опускались все ниже и ниже.

Тургенев дремотно покачивался в тряском возке. Его рослая, плечистая фигура еле умещалась на узком сиденье. Впрочем, и все черты его были крупны: и лоб, и широко расставленные глаза, и нос той неопределенной формы, которую почему-то принято называть русской. Даже рано тронутые сединой волосы казались чрезмерно длинными от вольной, небрежной прически. Но только прически касалась эта небрежность. В остальном Иван Сергеевич был подтянут и аккуратен до щегольства. Дорожный серый костюм с нарядным жилетом и модная шляпа с высокой тульей выглядели изысканно и нарядно.

Призакрыв глаза, Иван Сергеевич откинулся на подбитую кожей спинку тарантаса. Нет, он не спал. В памяти всплывало пережитое.

Казарменный Петербург Николая Первого. После долгого гостевания у друзей в Париже тут все казалось особенно мрачным, серым, казенным. В довершение внезапный арест! Месяц отсидки на «съезжей» при полицейском участке. А потом ссылка.

Тяжелые, темные тучи столпились над лесом. Прогредел гром. Мелькнула молния. Ветер зашатал стволы деревьев.

— Грозу надо переждать, барин. Ударит молонья — не сдобровать, — обернулся ямщик с облучка.

Тургенев приподнял голову, бросил взгляд вокруг и, видно, узнал знакомое место: бродил тут с ружьем, охотился.

— До избы лесника недалеко, там переждем, — сказал он.

Лошади побежали по узкому коридору просеки. Вскоре в зеленой чаще выросла изба лесника. Ветхая, покосившаяся.

Первые капли дождя как-то сразу и звонко зачастили по земле. Тургенев торопливо соскочил со ступенек тарантаса, вбежал на крыльцо, отворил дверь в сенцы, окликнул:

— Эй, хозяин! Гостей принимай!..

Из темного угла послышалось жалобное мяуканье кошки.

— Есть кто дома?

Ответа не последовало. Навстречу в сенцах, сверкнув самоцветным глазом, метнулась худая кошка. Изба была пуста. Состояла она из одной горницы, закоптелой и низкой. Дырявый тулуп висел на деревянном костыле, вбитом в стену. У печи, возле вываленной на пол золы, высилась куча брошенного тряпья. С длинного корявого шеста у лежанки свисала люлька.

Ямщик поставил лошадей под навес во дворе и вошел в избу.

— До недавнего тут жил лесник Евстигней, да, вишь, не угодил своему барину, его и продали куда-то дальше. Все хозяйство семья бросила, вишь, и люльку не сумели взять... — пояснил ямщик.

Тоскливо было в покинутой избе. Тургенев глянул в затянутое паутиной оконце. Плотной завесой лил дождь.

Ничего не оставалось, как набраться терпения и ждать.

— Отдыхайте, барин! — предложил ямщик, он запасливо прихватил со двора охапку соломы и бросил ее на полати. — А я — тут... — Расторопный орловец разостлал на полу оставленный хозяйский тулуп, достал самоделковую резную тавлинку с нюхательным табачком.

Тургенев устроился на полатах. Закинув руки за голову, он задумался.

Чем ближе были родные места, тем более охватывало его неясное беспокойство. Предстояла встреча с безвозвратно ушедшим временем, оно доносилось до него как далекое эхо.

Давно он покинул родные места. Путешествовал по чужим странам, подолгу жил в Германии, Франции и, как всякий скиталец, всюду оставлял частицу души. В России встречался с такими людьми, как Белинский, Некрасов, Грановский, Аксаковы, подружился с непревзойденным художником сцены Щепкиным, а через него узнал самого Гоголя.

Навсегда в памяти останется тот знаменательный день, когда вместе со Щепкиным он впервые пришел к Гоголю. Николай Васильевич жил тогда в Москве на Никитском бульваре. Они застали его за работой, стоящим перед высокой конторкой с пером в руке.

Гоголь был приветлив, в ответ на почтительное представление молодого писателя сказал:

— Нам давно следовало быть знакомыми.

Волосы Гоголя небрежно ниспадали от висков, они еще сохраняли цвет молодости, хотя уже заметно поредели; покаты́й белый лоб говорил о недюжинном уме. Глаза то искрились веселостью — именно веселостью, а не насмешливостью, — однако казалось, что в пронизательном взгляде таится какая-то затаенная боль и грустное беспокойство.

Когда заговорили о литературе, Гоголь оживился, сказал гостю:

— У вас есть талант, обращайтесь с ним бережно... Мы обнищали в нашей литературе, обогатите ее. Главное — не спешите печатать, обдумывайте хорошо. Пусть сначала повесть создастся в вашей голове, и тогда возьмитесь за перо, марайте и не смущайтесь. Пушкин беспощадно исправлял свои стихи. Его рукописей теперь никто не разберет, так они перемараны.

...Святой писательский долг — хранить заветы гениального Гоголя, а для того трудиться, неустанно трудиться. Вот что предстоит ему, Тургеневу, здесь, где прошли его нелегкие молодые годы и где зародилось высокое призвание к творчеству.

Гроза отбушевала, торопливо понеслась дальше. В оконце лесниковой избы смело заглянул солнечный луч, донеслось веселое чириканье птиц.

Тургенев вышел из избы, привычным взглядом охотника огляделся вокруг. В синем небе величаво плыли облака. Светлый, радостный день распахнулся настезь.

— Поедем, барин? — Ямщик успел уже взобраться на облучок.

— Поедем...

Почтовый тарантас продолжал свой путь.

Дорога то устремлялась в просторы поемных лугов, то скрывалась в чернолесье и выбегала оттуда к отлогим холмам и зеленым полям. Нигде на Орловщине так не разнообразна природа, как тут, за Мценском, или, как говорят местные жители, Амченском.

— Вот и Спасское! — Кнутовищем ямщик указал вдаль.

Там горел на солнце золотой крест белокаменной церкви и высилась странного вида башня.

— Приметы родного гнезда! — улыбнулся Иван Сергеевич.

Сколько раз в детские годы он выстаивал мучительно долгие часы богослужений в этой нарядной церквушке! Мать не позволяла пропускать ни одной праздничной службы,

считая великим грехом попытки детей увильнуть от этой тяжкой для них обязанности.

А башня всегда внушала почтительный страх. Еще бы! Там покоилось тело дяди матери Ивана Ивановича Лутовинова. Взбалмошный старик заблаговременно построил пышный мавзолей-башню, в котором завещал себя похоронить.

Дядюшка матери был человек примечательный. Спасское и другие тургеневские имения ранее принадлежали ему. Богач славился своей скупостью и хозяйственной предприимчивостью. В Спасском он разбил огромный парк. Буквально на глазах возник этот чудесный парк. Взрослые сосны, клены, липы прямо из леса пересадили на новое место. Для этого соорудили особые тележки, на которых деревья перевозили стоя, вместе с корневищами и глыбами земли. Рассаживали деревья так, чтобы аллеи, пересекаясь, образовывали римскую цифру XIX — век создания парка.

Господский дом окружали фруктовые сады, цветники, оранжереи, в которых зимой зрели виноград, ананасы, персики и другие южные плоды. Розарии были столь велики, что в усадьбе добывали душистое розовое масло.

Тарантас подкатил к воротам усадьбы.

— Стой! — Иван Сергеевич, не дожидаясь, пока возница придержит лошадей, соскочил на ходу, широкими шагами направился напрямик к дому.

Кусты сирени, акации, жимолости, с тех пор как он последний раз был здесь, разрослись до неузнаваемости. Сирень стала особенно пышной, превратилась в большие зеленые чащи.

Цветов хоть и меньше, чем при жизни Варвары Петровны, а все же много. Буйствует яркая петунья, пламенеют гвоздики и всюду — розы: пунцовые, белые, желтые, чайные, пурпурные, такие темные, что кажутся черными.

А вот и скамейка, с которой связано столько счастливых и горестных воспоминаний! Она совсем спряталась в сиреневой глуши; эту ее уединенность и ценил подросток Ваня Тургенев, когда зачитывался интересной книгой или переживал обиду несправедливого наказания.



В усадьбе уже пронесся слух о приезде хозяина, и все вокруг зашевелилось, заходило, захлопотало. Первыми его заметили опрометью сбежавшиеся дети дворовых.

— Здравствуйте, барин! Здравствуйте! — кричали они и мчались дальше, возвещая новость: «Барин приехал!»

Голоса их звенели радостью. Впрочем, для всех спасских обитателей каждый приезд наследника Варвары Петровны был праздником.

Вступив во владение Спасским (все остальные имения перешли в собственность старшему брату, Николаю), Иван Сергеевич первым делом отпустил своих дворовых людей на волю, безвозмездно наделив их землей. Прочих крестьян перевел на оброк, что позволило им уходить зимой на отхожий промысел в город, а летом заниматься хлебопашеством на себя, а не на помещика.

— Другой на моем месте, возможно, сделал бы больше... — говорил Иван Сергеевич.

Однако такие «другие» находились весьма редко.

Молодой барин все дела по имению поручил своему столичному приятелю Тютчеву — человеку ничем не примечательному, хозяину не ахти какому, зато охотнику страстному.

Встречая Ивана Сергеевича на крыльце дома, он, церемонно приподняв шляпу, воскликнул:

— Мой друг, рад приветствовать вас в родной обители! Вы прибыли так быстро, что вам не успели как следует подготовить флигель.

— Не беспокойтесь, в старом флигеле мне всегда хорошо.

Пожар еще при жизни Варвары Петровны почти целиком уничтожил барский дом, настолько большой, что в нем помещался театр, на сцене которого выступали крепостные актеры и музыканты и даже устраивались целые балетные спектакли. Огонь пощадил лишь примыкавший к дому флигель, да от пожара уцелела каменная галерея. После некоторых перестроек владелица поселилась во флигеле, а в галерее устроили библиотеку.

Иван Сергеевич сохранил обстановку, оставшуюся после матери. Он вошел в дом с волнением, которое всегда испытывал, переступая порог родительского дома. Все привычно, всюду знакомые с детства вещи.

Вот в кабинете высокие стенные часы, изготовленные искусным английским мастером. Стрелки их четко отмечают секунды, минуты, часы, показывают дни недели, месяцы, а звон их веселый и мелодичный.

В тяжелой раме висит писанный маслом портрет дяди матери. На противоположной стене портрет отца. Сергей Николаевич Тургенев в парадном, шитом золотом мундире, молодой и красивый, глядит надменно. Мать не могла равняться с ним внешностью, но все же было что-то привлекательное в ее черных выразительных глазах, волевых и решительных чертах лица.

Иван Сергеевич по-настоящему постиг натуру матери поздно, только после ее смерти, когда познакомился с дневником Варвары Петровны.

Сколько неожиданного открылось ему тогда в ее противоречивом характере!

Она очень любила цветы, тонко ценила их красоту; ни у кого во всей округе не было таких замечательных тюльпанов и роз. Однако свою благородную страсть к цветоводству Варвара Петровна совмещала с ужасной жестокостью к тем, кто выращивал удивительные растения.

Однажды кто-то нечаянно повредил любимый тюльпан хозяйки, и по ее приказанию всех садовников высекли на конюшне.

В молодые годы Варвара Петровна отлично ездил верхом, была метким стрелком, наравне с мужем участвовала в псовых охотах.

Наверно, от родителей унаследовал Иван Сергеевич охотничью страсть. Едва переступив порог дома, первым делом он подошел к шкафу, где хранилось ружье, лежали роговые пороховницы, ягдташ и прочее снаряжение. Вынул из футляра ружье, полюбовался им, заботливо проверил курки и почти с нежностью погладил стволы.

## ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

— Пожалуйста ко мне откусать с дороги! — Тютчев стоял в дверях, приветливо улыбаясь.

Он заметил происходившую сцену, ему были понятны чувства завязтого охотника, заставлявшие забывать все на свете. Его и самого только приличие удерживало не вымолвить заветного слова «охота».

Иван Сергеевич словно прочел его мысли:

— Не сходить ли нам на болото к Варнавицкой плотине? Кулички там небось не перевелись.

Приятель встретился взглядами и рассмеялся: оба вдруг поняли, как нелепо после долгой дороги вот так сразу сорваться на какое-то болото, чтобы пострелять куличков. И, будто в оправдание, Тургенев стал рассказывать:

— Русские люди с незапамятных времен любили охоту. Витязи киевского князя Владимира Мономаха стреляли из луков белых лебедей и серых уток. Мономах оставил наследникам советы, как ходить на медведя и на горных туров. Уверяю вас, если дать нашему нынешнему мужичку старое ружьишко, хоть веревкой связанное, да горстку пороху, он в своих драных лаптях способен от зари до зари шататься по болотам. И с таким ружьишком будет караулить в овсах медведя, только в дуло вгонит пулю-самоделку. А коли попадет в лапы медведю, но сумеет полуживым добраться до дому, отлежится и снова пойдет на мишку с тем же жалким подобием ружья. Недаром русский человек сложил пословицу: «Зверя бояться — в лес не ходить».

— Согласен с вами вполне! Да взять хотя бы нашего Афанасия Алифанова: простой, бедный мужичишка, а охотник, каких во всех Европах не сыщешь. Я сразу узнал его в ваших «Записках», хоть вы его и скрыли под именем Ермолая.

— Угадали! Однако только отчасти: Афанасий и Ермолай одно, но в то же время и не совсем одно лицо. Он один, но если можно так выразиться, двойствен в лицах.

— Я и других разгадал ваших героев. Знаю их в дейст-

вительной жизни, а потом узнал в вашей книге, — ну, словно живые.

— Это, повторяю, не совсем так. Есть тут некоторый писательский секрет.

— Просветите — какой? Сгораю от любопытства!

— Открою все, но за обедом, на который вы так любезно меня пригласили, — пошутил Тургенев.

— Ах, простите меня, болтуна! Жена наказывала: «Веди Ивана Сергеевича к оголу, да поскорее!»

Обед затянулся. И не только оттого, что Тютчевы отличались большим хлебосольством, а и потому, что беседа друзей не имела конца. Говорили о многом и разном, не касались, пожалуй, лишь вопросов хозяйственных, которыми и сам владелец имения и его управляющий мало интересовались, будучи в этом отношении людьми достаточно беззаботными.

Поначалу госпожа Тютчева попросила гостя поделиться столичными новостями, затем ее супруг, который был человеком до крайности любопытным, напомнил писателю обещание раскрыть свой «секрет».

— Охотно! — откликнулся Иван Сергеевич. — Впрочем, упреждаю: тайна сия не велика, хотя существенна в литературном творчестве. — И добавил: — Думаю, в любом творчестве...

— Заинтересован еще более!

— Не ожидайте ничего сверхъестественного, чтобы не разочароваться.

— Я весь — слух и внимание.

— Поясню вам на примере того же Афанасия Алифанова. В книге он превратился в частого моего спутника по охоте Ермолая. Не следует думать, что я лишь переименовал Афанасия и перенес его на страницы рассказов. Прежде чем стать героем книги, ему пришлось переродиться. Происходило это отнюдь не сразу и довольно-таки сложно. Характер Ермолая кое в чем заметно отличается от своего двойника, и в нем проступают иные черты. Он не слепая копия и не зеркальное отражение одного лица.

— Однако, когда я читала о Ермолае в «Записках охотника», — воскликнула жена Тютчева, — я невольно вспоминала Афанасия Алифанова с хутора Высокого, отсюда верстах в пяти! Он любит рассказывать, как молодой барин помог ему выкупиться на волю еще при жизни старой барыни.

— Да... Крутого нрава была Варвара Петровна. Однако, полагаю, ныне не надо ее слишком казнить: личная ее жизнь складывалась не легко, она исковеркала, погубила ее лучшие задатки.

Тургенев умолк на время, потом продолжал:

— Все же Ермолай вобрал в себя кое-что присущее и другим людям его склада. Он неповторим и одновременно наделен многими общими чертами. Вот и вся творческая «тайна»... — смеясь, заключил Тургенев. — Кстати, давайте завтра на заре поохотимся вместе с Афанасием Алифановым!

Разговор перекинулся на охоту — тему неисчерпаемую для тех, кто привержен этой всепоглощающей страсти, будь то ловля рыбы или так называемая «скромная охота» — собирание грибов.

Иван Сергеевич пришел к себе во флигель уже в сумерки. Почему-то в такой сумеречный час особенно хорошо мечтается. Недаром в народе родилось поэтическое слово — «сумерничать».

Устав с дороги, Иван Сергеевич прилег на диван. Покрытый лакированной кожей, широкий и мягкий, он обладал чудесной способностью быстро усыплять любого, кто пользовался его зазывным уютом. За это свойство владелец дал ему шутовское прозвище — «диван-самосон».

Но сегодня «самосон» не сумел оказать обычного действия. И как Иван Сергеевич ни старался закрывать глаза, легкая дрема слетала только на миг, затем начиналось то томительное состояние, которое в полночное время зовется бессонницей, ну, а в сумерки, да еще в деревенской тиши, скорее просто раздумьем.

Взор Ивана Сергеевича упал на знакомые с детства, но за годы странствий полузабытые вещи. О, если бы вещи могли говорить! Они рассказали бы удивительные истории о

том, что видели и слышали на своем долгом веку. Портреты, висящие на стене, конечно, были бы самыми красноречивыми. Однако пусть лучше они безмолвствуют: очень уж жестоки были их оригиналы.

Ларец из красного дерева задержал взгляд. С крышкой, украшенной замысловатой резьбой, инкрустированной кусочками золотистой карельской березы, темного палисандра и душистого сандала, он был настоящим произведением искусства. Старый ларец ранее принадлежал матери Ивана Сергеевича и служил хранилищем ее деловых бумаг, писем и дневника.

Дневник матери, обнаруженный после ее смерти, потряс Ивана Сергеевича. Он прочел его не отрываясь от первой до последней страницы, раздумывая о странностях характера и превратностях судьбы автора.

Каким незаурядным человеком была мать! И как исковеркала ее жизнь! Высокообразованная, щедро одаренная от природы, она не смогла направить свои способности на благо людское. Злой враг — крепостное право — погубил лучшие порывы ее души. Что видела она, рано осиротев и живя с девичьих лет в доме своего дяди, крепостника Лутовинова? Только жестокость! Он был беспощаден ко всем подвластным ему людям, и племянница, попавшая под его опеку, не была исключением. Она не ведала иных нравов, чем те, что царили в доме опекуна. И ее воспитывали как будущую самодержавную владелицу крепостных рабов. Так она стала жестокой даже к родным детям.

А ведь где-то в глубине ее души таилась нежная любовь к сыновьям. Строки из дневника, который Иван Сергеевич обнаружил в заветном ларце, говорили о том, как горячо мать любила его, столько раз бывшего жертвой ее гнева.

«Иван — сокровище, — писала она дрожащей, нервной рукой. — Чуть с глаз, он буйный, страстный, безумный, все и всех забыл, летит, летит, парит, пока солнце крылья ему не подпалит, тогда он падает мрачен, несчастлив. Опомнится на минутку, меня нет — опять кровь закипела, опять буйствует, недоволен собой. Вот — Иван!»



Меткая характеристика! Впрямь он бывал горяч, как его мать. Может, таким и остался бы, ежели рано не вырвался из родного гнезда, не начал самостоятельную жизнь.

Мать любила младшего сына, Ивана, больше, чем старшего, Николая, и своего отношения не скрывала. Писала сыну-студенту в Берлин: «Все заключается у меня в вас двух. Я не имею ни сестер, ни братьев, ни матери, ни тетки, никого, ни друзей... Вы... вы... и вы, с братом. Я вас обоих люблю страстно, но — различно. Ты мне особенно болен. Это я могу объяснить примером. Ежели бы мне сжали руку — больно; а ежели бы мне наступили на мозоль — нестерпимо».

Ласкательно, в шутку, она называла своего Ванечку доченькой. А как же объяснить порки, которым подвергалась столь любимая «доченька»?

Во-первых, в то время вообще царили подобные приемы воспитания, они несколько смягчились лишь в последующие годы. Во-вторых, Варвара Петровна была характера необузданного, и гнев всегда ее ослеплял.

Иван Сергеевич хранил в заветном ларце материнское письмо, полное нежности и раскаяния за свою очередную вспышку раздражительности, приведшую к мрачной ссоре.

«Мой милый, — писала она, — гнев матери — дым. Малейший ветерок, и пронесло его. А любовь родительская неограниченна. Сквозь этот дым, как бы он ни ел глаз, надо видеть любовь, которая с колыбели вкоренилась в сердце».

То не были пустые слова. Чем старше становился сын, тем сильнее теплело к нему чувство матери. Однажды он особенно это ощутил. Студентом Иван приехал в Спасское на каникулы. В то лето он частенько навещал соседей на беговых дрожках. По дороге его лошадь чего-то испугалась и понесла. Дрожки ударились о дерево, перевернулись. Иван сломал руку.

Оказавшиеся поблизости крестьяне-косари подняли пострадавшего, перевязали ему руку и помогли добраться домой пешком. Варвара Петровна, завидев из окна дома разбитые дрожки и бредущего позади сына, пришла в ужас от такой картины.

С тех пор безотчетная тревога овладевала ею, если по долгу не бывало известий о сыне.

Иван Сергеевич знал, что, несмотря на частые взрывы гнева, мать души в нем не чаяла. Ее пылкая натура не признавала ни в чем половинчатости. Любить так любить! Сердиться так сердиться! Отсюда и возникало, на первый взгляд, странное противоречие в ее чувствах к сыну.

Три года мать не виделась с сыном: он проходил курс наук в берлинском университете. За время разлуки многое, что являлось ранее предметом их расхождений, изгладилось из памяти. По возвращении домой Иван Сергеевич был тронут сердечной и нежной встречей.

— Как ты возмужал! Красив стал...— Мать не могла налюбоваться сыном.

Целые дни придумывала она, чем бы ему угодить. Повару заказывались самые любимые блюда, во флигель молодому барину посылались всякие лакомства и банки варенья, которые быстро уничтожались с помощью ватаги ребятишек, постоянно крутившихся возле флигеля.

Благорасположение матери доходило до того, что она, не терпевшая в доме собак, позволяла легашу Наплю находиться при ней на балконе, потому что собака принадлежала Ванечке. Она даже кормила Напля сладостями из своих рук.

Варвара Петровна мечтала видеть сына только в ореоле военной или гражданской славы и не поощряла его увлечения литературой.

Первые шаги сына в этом направлении были встречены в штыки. Когда юноша написал романтическую поэму «Стенио», правда произведение наивное, слабое, мать решительно заявила:

— Хочешь стать писателем? Напрасно! Не дворянское это дело. Что такое писатель? То же самое, что и писарь. И тот и другой за деньги бумагу марают... Дворянин должен служить и составить себе карьеру и имя службой, а не бумагомараньем. Поступай и ты на настоящую службу, получай чины и награды...

Он не посмел перечить и не высказал тогда, что считал

целью своей жизни: «Я надеюсь стать литератором и никем другим быть не хочу». А стать писателем означало для юноши одно: бороться за правду людскую!

Позже он написал поэму «Параша», в которой проступали его мысли и чувства. То была полушутливая, полулирическая поэма о том, как жизнь коверкает лучшие порывы и стремления молодости. Эпиграфом к «Параше» служила строка лермонтовского стиха: «И ненавидим мы, и любим мы случайно». Параша — простая, чистая девушка. Поэт обращал к ней восторженные слова:

О, барышня моя... В тени густой  
Широких лип стоите вы безмолвно;  
Вздыхаете; над вашей головой  
Склонилась ветвь... а ваше сердце полно  
Мучительной и грустной тишиной.  
На вас гляжу я: прелестью степною  
Вы дышите — вы нашей Руси дочь...  
Вы хороши, как вечер пред грозой,  
Как майская томительная ночь.

Серость и скука мещанского существования стубили Парашу. Поэма завершалась горестными словами:

Мне жаль ее... быть может, если б рок  
Ее повел другой — другой доро́гой...  
Но рок, так всеми принято, жесток;  
А потому и поступает строго...

Теперь, став признанным, зрелым писателем, Иван Сергеевич стыдился наивности своего юношеского произведения. Слабо утешало и то, что поэма была напечатана и даже вызвала доброжелательные отклики критиков. Это было его первое художественное произведение, увидевшее свет в отдельном издании. Автор скромно скрыл свое имя и фамилию под инициалами «Т. Л.», что означало Тургенев-Лутовинов. Но какой неопиcуемый восторг он испытывал, когда держал в руках первенца своего творчества — настоящую книгу в переплете!

Он послал тогда книгу на суд матери. Суд взыскательный и беспощадный, ибо Варвара Петровна во всем без исключения была непререкаемо требовательна. И что же? В ларце хранится ее радостный ответ: «Имею так много сказать о «Параше», что завтра в субботу буду писать пространнее. Спасибо, что не ударил лицом в грязь!»

И вот следующее письмо: «По оказии пришли мне несколько книжек «Параши» и напиши, у кого в типографии ее печатали, сколько книг и почем продаются, и есть ли в Москве». Мать признается сыну: «В первую минуту я прочла «Парашу» без внимания. В моем же доме, как в порядочном водится, стихов русских не читают, потому и понять не могут... Однако «Параша» еще прежде читаемой похвалы понравилась, и я точно вижу в тебе талант. Без шуток прекрасно, мило, деликатно, скромно».

Как поддержали эти слова начинающего, робеющего автора! Его неокрепшие силы обрели драгоценную поддержку матери.

Иван Сергеевич сидел, склонившись над старыми письмами и дневником самого родного и близкого человека. Много горьких минут пережил он из-за жестокости матери, жестокости, которая удивительно совмещалась с горячей любовью к сыну и гордостью за его первые успехи на тернистом пути литератора.

Но разве он сам не относился к матери двойственно! Он ненавидел и презирал в ней всевластность помещицы и в то же время неизменно и глубоко ее почитал.

В последние годы мать сильно болела, была не в состоянии передвигаться самостоятельно, иногда она просила:

— Ванечка, прокати меня в кресле по саду. Так хочется полюбоваться цветами!

Задушевы были их беседы в этих прогулках! Отстранив лакея, Иван сам катил коляску с креслом по садовой дорожке, стараясь, чтобы больная старая мать вдоволь насладилась цветами на грядках и клумбах.

Все это было не так давно и еще живо в памяти. Однако если бы сейчас кто-либо задал ему, писателю Тургеневу,

вопрос: «Как уживается в вас преданная любовь к матери и то, что вы так резко осуждаете ее в своих рассказах?» — положа руку на сердце ему пришлось бы сознаться: «Действительно, Варвара Петровна Тургенева-Лутовинова героиня некоторых моих рассказов. И хотя она фигурирует под вымышленными именами, образ ее всегда отрицательный — злая помещица, угнетающая своих рабов. Что поделать, истина для меня дороже всего!»

Никто не может упрекнуть его в нарушении данной им клятвы: посвятить жизнь борьбе с заклятым врагом — крепостным правом.

Доказательство: новое произведение — «Муму».

Всякий, кто знавал Варвару Петровну Тургеневу, ее капризный и крутой нрав, угадал бы ее в барыне, описанной в рассказе.

Живя в городском доме в Москве, Варвара Петровна содержала многочисленную челядь, состоящую, кроме старых приживалок, из портных, белошвеек, прачек, башмачников, конюхов и даже домашнего лекаря.

Дворник Андрей был примечательным человеком среди барыниных челядинцев. Красивый мужик саженого роста, силач, он был от рождения глухонемой. Варвара Петровна вывезла его из деревни, где Андрей считался исправным хлебопашцем. Могучий, как дуб, он трудился за четверых, всякое дело спорилось в его руках. Радостно было смотреть, когда пахал он землю сохой, косил на лугу траву или обмолачивал хлеб тяжелым цепом. Постоянное безмолвие придавало торжественность его неутомимой работе.

Не легко далась Андрею новая жизнь в городе. Вырванный из родной среды, он тосковал, иногда забивался в дальний угол двора, валился на землю ничком и лежал так недвижимо.

Барыня, выражая свое благоволение, велела обрядить его в красную кумачовую рубаху, плисовую поддевку, а лыковые лапти заменить кожаными сапогами. Но ничто не могло унять тоски бедняги.

Иван Сергеевич наблюдал Андрея в городской усадьбе

Варвары Петровны. Глухонемой богатырь вызывал жалость, и не только из-за своего несчастья. Страшно тосковал он по своей родной земле. Вот так сохнет могучее дерево, вырванное из плодородной почвы и пересаженное на бесплодную землю.

«Нравственные пытки могут быть тяжелее физических», — думал Иван Сергеевич, глядя на страдания Андрея, которого барыня избавила от телесных наказаний — частого удела крепостной дворни. Но бедняге пришлось испытать еще бóльшие угнетения. Его невеста по воле барыни была выдана замуж за другого, к тому же за пьяницу и ворюгу.

Глухонемой неутешно переживал свое горе. Чтобы хоть как-нибудь скрасить одиночество, он приютил жалкую бездомную собачонку. Два бессловесных существа нежно привязались друг к другу. Взаимная преданность их вызывала общее удивление и восхищение.

Увы! Недолго длилось крохотное счастье раба и его собачки, названной им Муму — единственным звуком, который он произносил. Однажды Муму, на свою беду, тявкнула на барыню, проходившую по двору. И тотчас был вынесен приговор: «Уничтожить!»

Андрей принужден был сам исполнить приказ госпожи. В последний раз он накормил Муму. Попрощался. И утопил в реке.

Случай этот Иван Сергеевич сделал темой рассказа. В нем глухонемой Андрей получил имя Герасима, а некоторые события чуть изменились, однако сохранилась суть: нравственные пытки для крепостного раба порой страшнее телесного наказания.

Читая рассказ, современники Тургенева убеждались, что крепостное право должно быть отменено.

Иван Сергеевич написал этот рассказ, пока находился под арестом на «съезжей». Из-за поспешного отправления в ссылку он не мог предложить рукопись кому-либо из петербургских издателей.

Цензура неумолима к подобным произведениям. А теперь, когда автор стал ссыльным, к рассказу отнесутся еще



строже, придирчивее. Неужели «Муму» останется лишь в рукописных листах?

Нет, писатель, как всякий художник, обязан бороться за судьбу своего детища! Надо найти издателя, который взялся бы отстаивать рассказ от посягательств цензуры.

Вспомнилось имя Константина Аксакова. Даже не разделяя его славянофильских взглядов, нельзя не ценить его честности, твердости, убежденности.

Иван Сергеевич взял конверт, решительно написал: «В «Московский сборник». И вложил свой рассказ в конверт, чтобы завтра вместе с письмом Константину Сергеевичу Аксакову отправить на уездную почту.

...Тургенев подошел к распахнутому окну. В лицо ударил теплый ветер, он нес с ближних полей запах поспевающей ржи и горьковатый аромат цветущей гречихи. В небе засветились несчетные звезды.

## ДВОЙНИКИ ГЕРОЕВ

— Дианка, на место!

Голос Ивана Сергеевича звучал притворно сердито и не мог обмануть тонкого слуха умной собаки. Но разве любимого хозяина можно ослушаться! Дианка судорожно зевнула, аж зубами лязгнула, однако с покорной улыбкой поплелась на подстилку в углу.

Из всех животных улыбаться умеют только собаки, а самая нескрываемая улыбка — у легавых, как, например, у Дианки. Вот и сейчас она из своего угла, лукаво прищурившись, следит за всеми движениями своего хозяина.

Иван Сергеевич чистит ружье. Длинный прут шомпола с тряпочкой на конце скользит в ружейном стволе. Вперед — назад, вперед — назад... Оба ствола должны обрести сияющую чистоту. Завзятый охотник, он никому не передоверит это занятие.

Последние годы, живя за границей, а после возвращения на родину — в Петербурге, Иван Сергеевич не ходил на охо-

ту и теперь особенно радовался такой возможности. Готовился к охоте тщательно, поднялся очень рано, по-деревенски, когда еще не занималась заря.

Давно уже рассвело, а Тютчев запаздывал. Ну вот, наконец явился и он.

Как и полагается настоящему охотнику, Иван Сергеевич, как, впрочем, и его спутник, оделся простецки: согласно старому неписаному закону щегольство настоящему охотнику никак не пристало, — наоборот, в легкой небрежности костюма заключается подлинное охотницкое франтовство. Исключение — фетровая шляпа на голове, и то, упаси боже, не новая.

Беговые дрожки ждали у крыльца флигеля.

— На лесные выселки, в Высокое? — коротко спросил Тютчев.

— Разумеется, к Афанасию Алифанову!

Ехали молча. Дианка, высунув длинный красный язык, бежала позади дрожек, между колесами.

Сначала минули огороды с примятым у дороги горохом; его преждевременно высохшие стебли валялись спутанной проволокой. Затем начались поля и луга. Вокруг гремели перепела, взапуски перекликались коростели. Мельница издали приветно махала широкими крылами.

Лес возник как-то сразу. Дрожки остановились на заросшей цветами опушке. Дианка тотчас метнулась вперед, в зеленеющую чащу. Но охотники неторопливо шли с зачехленными ружьями.

Не надо было обладать чутким слухом, чтобы улавливать все лесные звуки, они сами неслись навстречу. Да еще с какой силой! Немолчно ворковали горлинки, свистала иволга, зяблик, тщетно подражая кому-то, пытался выделять замысловатые коленца, дрозды сердито трещали, трудолюбителей не прерывал своего сосредоточенного «тук-тук!».

Охотники перешли ручей и лощину с пологими боками; на дне лощины стоймя торчали, неведь откуда попавшие, большие белые камни.

— Будто сползли сюда для тайного совещания, — пошу-

тил Тургенев. — Все-таки когда-нибудь и эти громадины исчезнут, как не будет в помине и наших чудесных лесов. Сведут...

— Неужели наступит время, и здесь не будет водиться благородный тетерев, добродушный толстяк дупель и хлопотунья куропатка порывистым взлетом не испугнет собаку? — Тютчев любил выражаться чуть по-старомодному, приподнятым, напыщенным слогом.

— Жизнь идет вперед. Не остановишь...

Незаметно они приблизились к избе, стоявшей посреди поляны. Нетесаные, потемневшие сосновые бревна, крыша, покрытая подгнившей соломой, ни хлева, ни плетня или хотя бы загона для скотины.

— Эх, Афанасий... — сокрушенно покачал головой Тютчев. — Ведь вы, Иван Сергеевич, столько помогали ему: выкупили из неволи, денег дали на обзаведение хозяйством, а все не впрок. Душа крепостного мужика навечно остается в оцепенении.

— Нет, Афанасий — вольная птица, а причина такого житья-бытья не только в свойствах его характера. Почти все наши мужики живут худо, больно тяжкое бремя несут на себе. Даже получившему вольную, будь он семи пядей во лбу, не легко сразу стать на ноги.

— А вот и сам Афанасий, — возвестил Тютчев.

Из избы вышел высокий пожилой человек с взъерошенными волосами и толстыми насмешливыми губами. На нем был потрепанный кафтан, подпоясанный стареньким кушаком, и рваная смушковая шапка — одежда, которую он, по-видимому, носил постоянно, зимою и летом. На кушаке болтался мешочек, перекрученный веревкой на две половины: для пороха и для дроби. Пыжи, как хорошо было известно Ивану Сергеевичу, Афанасий добывал только из ватной подкладки своей неистощимой шапки.

— Иван Сергеевич! Приехали! — воскликнул Афанасий, радостно бросившись навстречу гостю. — За Чаплыгинским урочищем выводков тетеревиных — страсть! Валетка, гляди — барин приехали.

Старый пес, худой-прехудой, одни кости да кожа, — Афанасий его никогда не кормил, утверждая: «Сам должен найти пропитание!» — робко завиллял хвостом при виде пришедших. Диву можно было дать, чем живет на свете это неутомимое на охоте, вечно голодное существо. Правда, ежели случалось догнать подраненного зайчонка, то он делался полной добычей Валетки, уничтожавшей его до последней косточки, несмотря на запреты и ругань хозяина.

Валетка и одноствольное кремневое ружье Афанасия служили неизменным поводом для шуток Ивану Сергеевичу. Скверное, совсем рухлядь, ружьишко имело к тому же подлую привычку сильно «отдавать» прикладом, отчего правая щека Афанасия всегда бывала пухлее левой. Как он ухитрялся бить из него без промаха, оставалось загадкой.

И старый худой пес Валетка, и кремневое ружье, имеющее подлую привычку «отдавать», и сам их владелец Афанасий нисколько не изменились с тех пор, как Тургенев вот так описал их в «Записках охотника».

— Как же насчет Чаплыгинского урочища? — повторил Афанасий, привычно поглаживая свою правую щеку. — Иль можно на реку Исеть по уткам.

Колебания и сборы были недолги. Охотники порешили не терять золотого времени, отправиться на урочище, где Афанасий приметил молодые выводки.

Не стоит описывать всех поисков, удач и разочарований, бесконечной ходьбы в различные уголки и закоулки полей и лесов, такой ходьбы, что если бы изобразить ее на бумаге, то вышел бы запутаннейший лабиринт. И об этой охоте, как о всякой охоте, можно было бы написать целую книгу.

Тургенев не носил с собой записной книжки. Однако виденное и слышанное четко запечатлевалось в его душе художника. Наметанный взгляд Ивана Сергеевича нельзя было обмануть никакими ухищрениями. И, уж конечно, он сразу распознавал плохого охотника, какое бы тот ни старался принять обличье.

Один из таких встретился Ивану Сергеевичу на пути к урочищу, богатому тетеревиными выводками.

На опушке, поросшей густым кустарником, Афанасий заговорщицки сообщил:

— Тут должны быть тетерева.

И впрямь, Дианка вскоре наткнулась на выводок и замерла в мертвой стойке. Иван Сергеевич выстрелил. Собака метнулась вперед подобрать убитую дичь.

Вдруг позади раздался треск раздвигаемых кустов. Подскакал верховой.

— Па-азвольте узнать, — заговорил он, надменно растягивая и коверкая слова, — по какому праву вы здесь о-охотитесь?

Иван Сергеевич оглянулся на всадника. Фигура и весь вид его были нелепы. Маленький человек с красным вздернутым носиком вызывающе подкручивал свои непомерно длинные рыжие усы. Остроконечная, похожая на восточный колпак шапка с малиновым верхом закрывала лоб по самые брови. Истасканный архалук блистал серебряными галунами, через плечо висел рог, за поясом торчал кинжал.

Заморенная лошаденка шаталась под горячившим ее всадником, две криволапые борзые собаки вертелись у самых копыт лошади. Лицо всадника выражало высокомерие, глаза разбегались, как у пьяного, хотя пьяным он не был.

— Вы на моей земле, милостивый государь!

— Извольте, уйду!

— Па-азвольте узнать — вы дворянин?

Иван Сергеевич назвал себя.

— В таком случае, извольте продолжать охоту.

Всадник гикнул, вытянул ни в чем не повинную лошадь плеткой, отчего она, замотав головой, взвилась на дыбы и поскакала как угорелая.

— Ну и ну... Кто это? — рассмеялся Тургенев.

— Местный помещик Чертов... — пояснил Тютчев. — Судя по доспехам, отличный охотник.

— Не думаю! С первого взгляда заметно, что он нетерпелив, легко раздражается, теряет хладнокровие, следовательно, дурно стреляет. Такие обычно впадают в уныние, когда мало дичи, и все лишь оттого, что сами не приметливы, однако хо-



тят все переупрямить: и дичь, и собаку, и погоду, и даже природу.

— Устроим привал, а вы не откажите поделиться своими охотничьими наблюдениями.

— Когда-нибудь напечатаю их в назидание взбалмошным неучам вроде этого Чертопханова.

— Чертова... — поправил Тютчев.

— Я оговорился, видно, не случайно: фамилия Чертопханов лучше отражает его образ. Право, опишу его вот таким, как мы его сейчас видели.

Привал устроили среди белоствольных берез. После открытой глади полей и зарослей низкорослых кустов, где полуденное солнце жгло беспощадно, здесь был прохладный покой. Только ручей нарушал торжественную тишину. Да какая-то птица заливалась в своем зеленом укрытии.

Тургенев сбросил на землю набитый дичью ягдташ, рядом бережно положил ружье и уселся на траву, прислонившись к стволу старой березы. Он любил минуты привалов после долгих напряженных часов охоты, тогда думалось особенно легко, говорилось обо всем беззаботно.

Давно он так не наслаждался родной природой. Хотелось все объять, ощутить, запечатлеть в памяти. Он оглянулся вокруг — зеленой чаще не было конца-края. Закинул голову. Вершины деревьев ломали ровную линию горизонта. В небе, блистая кованым серебром, плыло одинокое облачко. Манящее облачко-корабль.

Голос Тютчева вернул к действительности:

— Обещали посвятить в свои охотничьи правила!

— Их много. Прежде всего не выношу тех, кто неосторожно носит ружье со взведенными курками, с дулом, направленным на товарищей, забывая мудрое изречение: «Бывает, что и зонтики стреляют». И не выношу тех, кто, если им ничего не попадается, стреляют по галкам, по ласточкам и воробьям — бесполезная жестокость! Верно ведь, Афанасий? — обратился Тургенев к Алифанову.

— Справедливо говорите, барин. Нет хуже зряшного охотника, у которого к птице невинной жалости нет. Недав-

но одного такого встретил, не постыдился он, грех на душу взял — соловья убил.

— Нет лучше наших соловьев, — заметил Тютчев.

— Соловьи у нас не те, что курские, — возразил Афанасий. Он знал в этом толк, был страстным любителем соловьиного пения, потому сразу загорячился: — Наши соловьи трещат, спешат, все колена мешают: сделает «туу» и вдруг «ви!» — эдак взвизгнет, словно в воду окунется. Слушать досадно.

— Да, лучшими соловьями всегда считались курские, — с видом знатока изрек Тютчев.

Афанасий опять возразил.

— Нет, похужели они в последние годы. Теперь лучшими считаются те, что ловятся около Бердичева. Там есть лес, прозываемый Третьцким, отличные там водятся соловьи. Держатся они больше в мелком лесе и в болотах, где лес растет. Болотные соловьи самые дорогие. Прилетают они незадолго до Егорьева дня, но сначала поют тихо, а к маю в силу войдут, распоятся. Слушать их надо ночью, но лучше на заре. Поют они разборчиво и не мешают колена.

Обычно малоразговорчивый, Афанасий коснулся любимой темы и, словно забывшись, говорил почти вдохновенно. Тургенев, явно стремясь развить беседу, задал вопрос:

— А какие бывают колена?

— Перво-наперво — почин. Этак: тий-вить, нежно, малиновкой. По-настоящему, это не колено, но соловьи обыкновенно так начинают. У хорошего нотного соловья оно еще так бывает: начнет — тий-вить, а затем — тук! Оттолчкой это называется. Потом опять — тий-вить... тук! тук! Да как рассыплет вдруг, разбойник, дробью или раскатом — едва на ногах устоишь.

Увлекаясь все больше, Афанасий принялся изображать пение соловья:

— Первое колено — пульканье. Этак: пуль, пуль, пуль, пуль... Второе — клыканье: клы, клы, клы... Третье — дробь, выходит, примерно, как дробь на землю разом просыпать. Четвертое — раскат: трррррр... Пятое — пленканье: плень,

плен, плень... Шестое — лешева дудка. Этак протяжно: го-го-го-го-го, затем коротко: ту! Седьмое, самое редкое колено — кукушкин перелет. Я сам только два раза в жизни его слышал. Кукушка, когда летит, таким манером кричит, сильный такой, звонкий свист. Восьмое называется гусачок: га-га-га-га... Наконец — юлиная стукотня. Есть такая птица юла, на жаворонка похожа, этакой у нее круглый свист: фюию-июиюиюию...

— Хорошо у тебя получается, показываешь мастерски, — одобрил Тургенев, опять чтобы раззадорить Афанасия.

Тот продолжал, не обращая внимания на одобрение:

— У нотного соловья каждое колено отчетливо, сильно выходит. Дурной спешит: сделал колено, струсил, скорее другое и смешался. Дурак дураком и остался. А хороший — нет! Рассудительно поет, правильно. Примется какое-нибудь колено чесать — не сойдет с него до истомы, проберет хоть кого... Вот так, к примеру, наш Яшка Турок поет, за душу хватает.

— Тот Яшка Турок, что у брата Ивана Сергеевича на бумажной фабрике черпальщиком работает? — спросил Тютчев.

— Он самый, лучше его во всей округе никто так петь не умеет, — подтвердил Афанасий.

Иван Сергеевич хорошо знал этого действительно замечательного певца. Он был сыном вольноотпущенного крепостного и пленной турчанки, однако имел горячую русскую душу и пел упоительно, искренне, проникновенно. В рассказе «Певцы» Иван Сергеевич описал певческое соревнование Якова Турка с его постоянным соперником, рядчиком из ближнего уездного городка Жиздры.

Наверно, привал затянулся бы, если бы не случай, прервавший беседу. Началось все с лая Дианки.

Как всегда, собака расположилась у ног своего хозяина. После утомительной беготни она, высунув длинный пересохший язык, тяжело дышала, потом, положив морду на вытянутые вперед лапы, уснула. Иногда ей что-то снилось: то ли в страхе убегавший заяц, то ли вспорхнувшая из-под самого

носа хитрая куропатка, тогда Дианка тихо, досадливо взвизгивала. Но вдруг уши ее поднялись, она сердито заурчала, вскочила и с лаем бросилась на двоих людей, появившихся на тропинке.

Валетка, которая как в хорошем, так и в дурном подражала товарке, тотчас последовала ее примеру. В лесу раздался громогласный лай двух собак.

Охотничьи собаки от природы не злые, однако и они считают своим долгом верно охранять хозяйский покой. Грозный оскал их зубов заставил прохожих остановиться.

— Дианка! Валетка!.. Нельзя! — закричал Афанасий. — Свои, добрые люди идут...

Дианка с неохотой умолкла и, виновато поджав хвост, вернулась на место, за ней поплелась и Валетка.

— Яшка Турок! Легок на помине, с ним дьячок. Небось на свадьбе где-нибудь загуляли, теперь домой возвращаются. — Лицо Афанасия омрачилось. — Пропала охота, — прошептал он.

Гуляки подошли ближе. Афанасий оказался прав: Яшка Турок и его спутник — дьячок, оба под хмельком, шагали домой из гостей.

Яшка Турок, худощавый молодой парень в долгополом кафтане, старался выглядеть фабричным удальцом. Но ему явно не хватало здоровья. У него были впалые щеки, тревожный, неуверенный взгляд. Иван Сергеевич глядел на него и с трудом представил, что герой его рассказа и этот подвыпивший мастеровой — одно лицо. А ведь он сам писал, как Яшку Турка преображала волшебная сила искусства! Удивительно пел он свою любимую песню: «Не одна во поле дороженька пролегала». Редко приходилось слыживать подобный голос: в нем была и неподдельная глубокая страсть, и молодость, и сила, и какая-то грустная скорбь.

Песнь росла, разливалась. И голос Якова крепчал, твердел, ширился. Он пел, и от каждого звука его веяло чем-то необозримым, словно знакомая степь раскрывалась и уходила в бесконечную даль.

Сейчас Яшка Турок и дьячок, горлопаня надтреснутыми

пьяными голосами, брели по тропинке, ведущей через лес к полю.

— Ну вот, пропала наша охота! — помрачнел Афанасий. Ему хотелось ругнуться, однако он стеснялся присутствия господ. — Пропала!

— Почему? — недоумеваю, спросил Тургенев.

— Какая же будет удача, коли поп перешел дорогу?

— Дьячок — не поп! — рассмеялся Иван Сергеевич.

— Все равно одного звания — толк один, прости господи! Удачи не будет! — убежденно повторил он.

Переубедить суеверного Афанасия не удавалось, он стоял на своем.

— Ну, делать нечего, вернемся домой, — согласился Иван Сергеевич. — Кстати, ягдташи наши полны дичи...

До глубокой ночи светится окно кабинета Ивана Сергеевича. Оно выходит в парк, и через раскрытые настежь широкие створы слышны каждый звук, каждое дыхание парка, жизнь которого замирает только к вечеру. Птицы засыпают не все вдруг, а сообразно своему строгому расписанию. Сначала затихают зяблики, за ними малиновки, потом овсянки. И деревья постепенно сливаются в непроницаемую черноту. В небе зажигаются первые звезды. Но где-то в глубине парка еще сонливо посвистывает какая-то запоздалая птица. Наконец и она умолкает. Однако тишина царит только миг. Щелкнул, пока еще неуверенно, первый соловей. За ним вступил другой, третий... И зазвучал соловьиный концерт.

Удивительно хорошо работалось Тургеневу в Спасском! Каждый раз, приезжая сюда, он вырезал метку «Т» на коре старой ели в парке, которую за ее раздвоенные стволы называл «братья». Уже немало этих меток украшает хвойных братьев. И дубок, посаженный совсем маленьким прутиком, превратился в стройное кудрявое деревце.

Бежит время. Не может он упрекнуть себя в ничегонеделании, как живет большинство соседей помещиков. Не придется ему опускать глаза перед ближайшими друзьями, чье



мнение ему особенно дорого. Вот над столом на стене висят их портреты. Гордость русского театра, великий артист Михаил Семенович Щепкин. И Виссарион Григорьевич Белинский, взыскательный и добрый совет которого помог многим писателям, а его, Тургенева, поддержал, когда он делал первые шаги на литературном поприще.

Советы великого русского актера Щепкина были неоценимы, когда Иван Сергеевич принялся писать для театра. Михаил Семенович сердечно, отечески опекал и заботился о молодом писателе.

С первой встречи с «неистовым Виссарионом» (так в дружеском кругу звали Белинского за его страстную непримиримость) между двумя дотоле незнакомыми людьми возникла близость и откровенность.

— Мы душой к душе прислонились, — сказал Тургенев после этой необыкновенной встречи.

Отношения крепили, становились нерушимыми, каждая встреча взаимно обогащала друзей, радовала, вселяла новые мысли.

— Отраднo встретить человека, — говорил Белинский, — самобытное и характерное мнение которого, сшибаясь с твоим, извлекает искры. Как замечательно понимает он Русь! Во всех его суждениях видны независимость, знание действительности. Я очень люблю и уважаю своих петербургских приятелей, но никто из них не имеет на меня никакого влияния. Всех больше я ценю голову Тургенева.

Критик требовательно и доброжелательно следил за развитием таланта начинающего писателя. Как счастлив был Иван Сергеевич, услышав его лестный отзыв о поэме «Параша»: похвала его походила на благословение к творчеству.

Без ложной скромности может Иван Сергеевич сказать о себе, что оправдал надежды друга. За прошедшие годы, кроме прославленных «Записок охотника», написал несколько пьес, повестей, начал работать над большим романом.

Воображение художника чутко вбирает виденное и слышанное. Взять хотя бы встречу с Афанасием Алифановым.

Разве его слова о соловьях не могут стать основой поэтического очерка?

В памяти Ивана Сергеевича сохранилось проникновенное замечание Белинского:

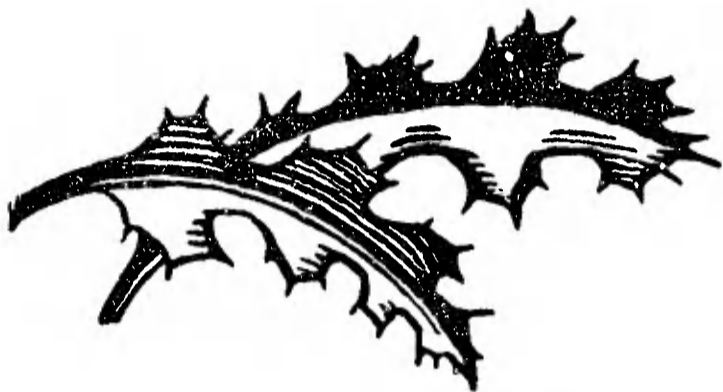
— Взятое из жизни ты умеешь перерабатывать по своему идеалу. Оттого у тебя выходит картина более живая, говорящая, полная мысли, нежели действительный случай, подавший повод написать эту картину.

Звезды щедро усыпали все небо. Из парка, потонувшего в темноте ночи, разносился соловьиный концерт. Невидимые певцы изощрялись в раскатах, пульканье, пленканье и других замысловатых коленах. Солировали «нотные» соловьи.

Тургенев отошел от окна, придвинул кресло к столу и принялся писать.

# ВЛАСТИТЕЛЬ

## ДУМ



### ЧЕРНЫЕ ДНИ

**О**сенний ветер с Невы пронизывает, валит с ног. На углу Невского проспекта и Морской улицы дует особенно свирепо.

А может быть, это лишь кажется? Ветер не так силен: падаешь от собственной слабости.

Вот уже третий год, с тех пор как он шестнадцатилетним юнцом приехал в Петербург, приходится жить впроголодь.

Кружится голова. Только бы не свалиться на тротуар, иначе городской примет за пьяного, препроводит в участок, там, известно, отдубасят нещадно.

Мелькнула спасительная мысль: «Трактир рядом... Надо войти, сесть за стол, взять газету — они на каждом столе. Половому на его: «Чего изволите?» — небрежно бросить: «Погоди, голубчик! Жду приятеля».

Газетный лист, распластанный на деревянной распялке, укроет от нескромного взгляда. И тогда «рассеянной» рукой потянуться к тарелке с хлебом. Кусок, другой... Глотать быстро, почти не жуя!..

Боже мой, лишь бы удалось!

И с жильем трудно. Хозяева, сдающие углы внаем, сами безнадежные бедняки. Можно ли винить их за то, что выгоняют за неуплату.

Случалось ночевать на садовых скамейках. Однажды повезло: какой-то нищий позвал с собой в даровую ночлежку. Темной ночью долго шли они в конец Васильевского острова, пока добрались до старого полуразвалившегося домика — приюта лишенных крова бродяг.

Как он оказался в таком положении?

Недоучкой вышел из пятого класса Ярославской гимназии. Отец его, помещик, отставной майор Алексей Сергеевич Некрасов, поскупился платить за обучение и решил определить сына в кадетский корпус. С рекомендательным письмом к влиятельному генералу Николай Некрасов отправляется в Петербург. Однако, решив учиться в университете, содействием генерала не воспользовался.

Вступительные экзамены в университет Некрасов не выдержал, зачислился вольнослушателем. Тогда отец, разгневанный поведением сына, отказал ему в денежной помощи. И Некрасов вскоре бросил ходить на лекции.

Молодой человек, не знающий никакого ремесла, никому не был нужен в большом городе. На базаре на Сенной площади за пятак или за краюху хлеба он пишет неграмотным прошения, заявления в суды, казначейства и прочие казенные заведения или письма домой «на деревню».

Так перебивался, пока не расстался со своим скудным имуществом вплоть до шинели. Остались только старый коврик и обшитая кожей подушка. Жил в сыром подвале, спал на полу, подстлав потрепанный коврик. И писал. Упоенно. Много. Писал стихи. Питался одним черным хлебом. И все-таки писал. Не мог не писать. Часто, уставая стоять на коленях у подоконника, растягивался на полу и писал.

Прохожие с улицы заглядывали вниз в окно подвала, дивились лежащему на полу молодому человеку, пишущему в такой странной позе. Нескромные чужие глаза и насмешки сердили, и он закрывал окно ставнями, оставив лишь щелку для света.

— Можно? — раздался однажды чей-то незнакомый голос у двери.

Не дожидаясь ответа, в подвал вошел рослый юноша в плаще, бывшем когда-то нарядным.

— Вы господин Некрасов? Николай Алексеевич?

— Никакой я не Некрасов! Не мешайте писать!

— Напрасно гневаетесь! — улыбнулся пришелец. — Я с намерениями самыми добрыми.

— Полюбоваться моей обстановкой? Что же, любуйтесь!

— Я тоже в положении незавидном. Сейчас в кармане случайно завелось несколько рублей и есть помещение лучше вашей конуры. Собирайте вещи и переселяйтесь ко мне.

— Кто вы? И что заставило вас явиться ко мне?

— Прослышал, что вы — поэт. А я художник. Вдвоем бедствовать легче.

И правда, с художником вместе жить стало полегче. Ничего, что на улицу они выходят по очереди в выдавшем виды плаще. Ничего, что он слишком велик для поэта. Художник вооружается иглой с ниткой и подшивает полы плаща по росту Некрасова. А когда он сам собирается выходить, то распускает шов, и плащ принимает свой прежний размер.

Так живут они, перебиваясь с хлеба на воду. Но близится зима, и жить с каждым днем становится все труднее.

Половой в трактире на Морской улице уже заметил, что посетитель, читая газету, «рассеянно» уплетает куски хлеба, и теперь, завидя его, прячет со стола тарелку.

Некрасов направляется к дому, где однажды он рубил дрова и хозяйка накормила его на кухне. стыдно идти туда снова, но что поделаешь, если валишься от истощения.

— Это вы, несчастный? — спрашивает хозяйка, приоткрывая дверь на черную лестницу.

От слова «несчастный» краска стыда заливает лицо.

— Не нужно ли нарубить дров?

— Нет! Небось есть хотите?

— Если позволите...

— Акулина, подай ему, что от обеда осталось!

Кухарка выливает в тарелку остатки борща из кастрюли.

— Замерз, несчастный... — повторяет она обидное слово. — Ну ешь, ешь. Руки аж покраснели от холода. И белья на тебе нет, весь обносился.

Красный изорванный шарф, которым обернута шея, не может заменить рубахи. Холодно! И особенно стыдно, когда красивая барышня, дочь хозяйки, забежав на кухню, спрашивает:

— Вы зачем такой рваный шарф носите?

Наивная девочка из богатой семьи. Откуда ей знать невзгоды жизни!

— Этот шарф вязала моя мать.

Барышня убежала сконфуженная. Однако от обиды кусок не идет в горло. «Помру с голода, а больше сюда не приду!» — дает себе клятву Некрасов, уходя из барского дома.

Наконец повезло! Досталось место гувернера в пансионе, готовящем молодых людей к экзаменам для поступления в Инженерное училище. За сто рублей ассигнациями гувернер обучает великовозрастных учеников с утра до позднего вечера.

Теперь можно есть почти досыта. И в свободное время писать, писать...

Стихов накопилось достаточно для отдельного издания. Удалось даже уговорить одного типографщика за небольшую, с превеликим трудом скопленную сумму их напечатать.

На заглавном листе тоненькой книжки красуется: «Мечты и звуки. Стихотворения Н. Некрасова, 1840 год». Автор не отрывает глаз от книги.

Свое первое произведение он несет на суд Жуковскому, мнению которого доверял сам Пушкин.



Жуковский живет возле Зимнего дворца. Дом большой, высокий. Однако вовсе не оттого, что ступеньки лестницы круты и надо подняться на верхний этаж, так замирает сердце.

Благообразный старик в подчеркнуто нарядной одежде принял его с дворцовой учтивостью. Сказал:

— Пожалуйста за ответом через три денька.

Не обманул, через три дня сказал кратко, с той же учтивостью:

— С книжечкой ознакомился. Есть два стихотворения порядочных.— И, будто не замечая тревоги на бледном лице, добавил: — Прочие, если так сильно хочется видеть изданными, печатайте без своего имени.

— ?!

— Впоследствии вы напишете лучше, и вам будет стыдно за эти стихи.

Разумеется, хотелось увидеть свою книгу изданной. Удалось даже вперед запродать несколько экземпляров. Но и суровый совет следовало выполнить.

«Мечты и звуки» увидели свет. Автор скрылся под инициалами «Н. Н.».

Книга поступила в продажу. «Н. Н.», горя нетерпением, через неделю зашел в магазин, спросил:

— Сколько экземпляров продано?

— Кроме заказанных заранее, ни одного,— ответил владелец магазина.

Еще через неделю последовал тот же ответ. Через месяц то же.

По прошествии двух месяцев положение не изменилось.

К тому времени на книгу вышла рецензия в «Литературной газете». Строчки прыгали перед глазами поэта, когда читал суровый себе приговор: «...многие из стихотворений г. Н. Н. уже были напечатаны, и некоторые даже на страницах нашей газеты. Но в том-то и заключаются особенности подобных г. Н. Н. поэтов и вообще писателей, что они суть НЕЧТО до тех пор, пока не издадут полного собрания своих сочинений, тогда же они становятся НИЧТО.

Название «Мечты и звуки» совершенно характеризует стихотворения г. Н. Н. Это не поэтические создания, а мечты молодого человека, владеющего стихом и производящего звуки правильные, стройные, но не поэтические».

Рецензия заканчивалась ехидно: «Лучше в молодости писать стихи, как г. Н. Н., нежели... нежели бить баклуши, как другие, например».

Автор принял мужественное решение: взял у книгопродавца свое произведение и уничтожил его.

Притом сказал себе твердо: «Никогда больше не буду писать лирические стихи!»

У слабого человека в таком положении вовсе опустились бы руки. Но вот как, по собственному признанию Некрасова, он переживал свое состояние:

«Я дал себе слово не умереть на чердаке. Нет, думал я, будет и тех, которые погибли прежде меня, — я пробьюсь во что бы то ни стало. Лучше по Владимирке пойти, чем околевать беспомощным, забитым и забытым всеми. И днем и ночью эта мысль меня преследовала, от нервного волнения я подпрыгивал на своей кровати и голова горела, как в горячке. Я мучился той внутренней борьбой, которая во мне происходила: душа говорила одно, а жизнь совсем другое».

Никаким трудом не гнушается Некрасов, чтобы заработать на жизнь. Вот рукопись пчеловода об уходе за ульями — надо исправить корявый язык старого пасечника. Владелец «Кабинета восковых фигур» у Казанского моста заказал зазывную афишу в стихах. Заказчик просил сделать ее «попроще», дабы потрафить обычным посетителям «Кабинета». Так рождаются вирши:

Иван Иванович Штейнигерс с саженой бородой,  
Он был в немецком городе когда-то головой!..

Чего не напишешь за двадцать пять рублей ассигнациями!

Заказ одного книгопродавца сочинить стихотворную азбуку для детей пришелся по душе. Писал также отзывы на пьесы, не видя их на сцене, и переводил с французского научные публикации.

Однажды знакомый режиссер попросил «что-нибудь сделать для театра». Исполнил и его просьбу — написал водевиль «Шила в мешке не утаишь». Заодно перевел пятиактную пьесу некоего французского автора «Материнское благословение».

Работал он быстро, не покладая рук. Все же нужда не отпускала, приходилось из-за безденежья прибегать к отчаянным приемам.

— Есть у тебя деньги на обед? — обратился приятель к Некрасову.

— Нет!

— А в трактире «Феникс» расплатился?

— В последнюю получку отдал кое-что, затем снова задолжал.

— Как же нам пообедать?

— Пожалуй, отправимся к трактирщику Ермолаю Ивановичу, авось убедим его в нашей честности — пусть даст в долг.

— Заскулит... Кусок в горло не полезет.

— В таком случае, устроим обед на более благородных основаниях.

— На каких, дорогой Некрасов?

— Заложу ему книжку своих стихов.

— Не примет!

— Этого быть не может. Головой ручаюсь, примет!

— Попробуй!

Приятель пришел в трактир «Феникс». Некрасов обратился к трактирщику:

— Вот книжка моих стихов. Видите, какая толстая?

— Вижу.

— Не возьмете ли ее на время... может, поинтересуетесь почитать?

— Некогда нам читать-то.

— Ну, так пусть полежит у вас. На днях я получу деньги, возьму ее.

— Ах, вам в долг надо чего-нибудь? — догадался Ермолай Иванович. И решительно произнес: — Никак нельзя-с!

А ежели книжка впрямь дорогая, то советую вам ее продать.

— Да, но для этого надо много времени!

— Что делать-с, а я не могу-с.

— Так-таки решительно отказываете?

— Совершенно точно-с.

В тот день не пришлось обедать.

Вдруг судьба стала благосклонной.

Поздней осенью, когда петербургская погода особенно хмура и неприветлива, к невзрачному дому, где обитал Некрасов, подкатила богатая коляска.

Из коляски выскочил нарядно одетый господин с большими, франтовски закрученными усами. Модный цилиндр и трость дополняли его облик.

— Здесь живет господин Некрасов? — обратился он к дворнику у ворот.

— Самый верхний этаж, вашескородие... — Дворник почтительно скинул шапку.

— Проводи! Впрочем, спервоначалу доложи: Панаев Иван Иванович желает его навестить.

— Слушаюсь, вашескородие! — Дворник опрометью бросился исполнять поручение.

Панаев — сотрудник журнала «Отечественные записки», писатель с именем — имел слабость к излишнему щегольству, в остальном был человеком содержательным, образованным, передовым. Визит его к безвестному поэту не был случайным, а объяснялся чутким вниманием к молодым талантам. Панаев в этом отношении давно заслужил добрую репутацию в литературных кругах.

После короткой беседы он сделал Некрасову лестное предложение:

— Сотрудничайте в «Отечественных записках», я приведу вас туда, познакомлю. Журнал поможет расцвету вашего дарования, в которое я глубоко верю.

## ПЕРВЫЕ ЛАВРЫ

В просторной гостиной Панаева, кроме хозяев дома, собрались только «свои»: Белинский, Боткин и еще кое-кто из литераторов.

Свечи в гостиной едва рассеивают полумрак. Опершись на высокую спинку кресла, стоит Некрасов. Вид у него болезненный, выглядит он старше своего возраста. Манеры его неловкие, он горбится, зачем-то прижимает локти к бокам, то и дело подносит пальцы к пробивающимся усам, но, не касаясь их, опускает руку. Жест этот, очевидно, от смущения.

— Я прочту стихотворение «Родина», — говорит он слабым голосом.

И вот они опять, знакомые места,  
Где жизнь отцов моих, бесплодна и пуста,  
Текла среди пиров, бессмысленного чванства,  
Разврата грязного и мелкого тиранства;  
Где рой подавленных и трепетных рабов  
Завидовал житью последних барских псов,  
Где было суждено мне божий свет увидеть,  
Где научился я терпеть и ненавидеть,  
Но, ненависть в душе постыдно притая,  
Где иногда бывал помещиком и я;  
Где от души моей, до времени растленной,  
Так рано отлетел покой благословенный,  
И неребьяческих желаний и тревог  
Огонь томительный до срока сердце жег...

Сидящие в гостиной внимательно слушают поэта. Судя по лицам, стихи нравятся, и даже жест Некрасова — часто касаться усов рукой — не кажется смешным. Только скептически настроенный Боткин своим подчеркнуто невозмутимым видом выражает: «Меня не прошибешь!»

...вижу я, что срублен темный бор —  
В томящий летний зной защита и прохлада, —  
И нива выжжена, и праздно дремлет стадо,  
Понутив голову над высохшим ручьем,  
И набок валится пустой и мрачный дом,  
Где вторил звону чаш и гласу ликований  
Глухой и вечный гул подавленных страданий...

Поэт умолк. В гостиной тишина. Только потрескивают мерцающие свечи. Все обернулись к Белинскому: мнение его здесь царит.

Однако Боткин нарушает обычный порядок. Он считает себя тонким ценителем изящных искусств и уверен в своей непогрешимости.

— Скажу откровенно, стихотворение Николая Алексеевича меня огорчило прежде всего избранной темой. Разве это предмет для высокого искусства — «гул подавленных страданий» рабов, завидующих последним барским псам? Нет, господа, искусство ждет иного от истинной возвышенной поэзии!

— Неверно! — Белинский привстал с кресла, большие глаза его заблестали и словно еще увеличились. — Неужели здоров будет организм ребенка, коли питать его одними сладостями? Наше общество находится еще в детском состоянии, и если литература будет скрывать от него всю грубость, невежество и мрак, которые нас окружают, то нечего ждать прогресса!

Вспыхнул спор. Боткин настаивал на своем, доказывал тщету поэзии, пытающейся черпать темы из «низменной» жизни. Распаляясь все сильнее, он упрекнул Некрасова в кощунственном отношении к чистому искусству.

— У Некрасова не только талант, — возразил Белинский, — но и знание русского народа, непониманием которого мы все отличаемся... Я убежден, его значение в литературе будет все более возрастать. А возьмите его критические рецензии! В нашем журнале он разобрал одно болгаринское изделие с такой злостью и с таким мастерством, что читать наслаждение.

Виновник спора сидел молча. Похвалы Белинского, непрекаемого авторитета для всех, были ему заметно приятны. Однако, чтобы прекратить горячие словопрения, он обратился с растерянной улыбкой:

— Право, моя особа недостойна столь лестного внимания. Не лучше ли, господа, перекинуться нам в картишки?

— Знаем, какой вы сильный игрок. С вами играть опас-



но, без сапог нас оставите... — рассмеялся Белинский. — И в этом деле талант ваш велик.

Хозяин дома раздвинул ломберный — карточный — столик. На зеленом сукне появились выписанные мелком столбики цифр.

Действительно, кучка выигранных денег стала расти перед Некрасовым. И руки его с привычной быстротой тасовали колоду карт.

Спорщиком он был пока слабым, а игроком сильным.

По прошествии времени он так вспоминал свои первые шаги в литературной среде: «Тяжелое впечатление производили на меня все эти люди: преобладала часто фраза, диалектика, говорились общие места, говорили больше о Западной Европе, видно было незнание русской жизни и русского народа. Я сознавал, что все это было не то, что нам нужно, но в то же время спорить с ними не мог, потому что они знали гораздо больше меня, читали. Сознывая все больше и больше, что нам нужно нечто иное, я начал работать, учиться...»

Многие современники продолжали судить его.

Даже А. И. Герцен находил в стихах Некрасова «злую сухость».

Аполлон Григорьев называл его стихи «больничными», а другой критик — «дубовыми».

«Его можно скорее назвать рифмующим публицистом, чем поэтом», — отражая мнение многих, писала одна из газет. И. С. Тургенев своим талантом, разносторонним образованием, обаянием личности несравненно возвышался над литераторами Боткиным и Дружининым. Но когда речь заходила о творчестве Некрасова, становился их сторонником.

— Стих Некрасова скрипит, как несмазанные колеса деревенского обоза, — раздраженно говорил Дружинин. — Можно ли допустить в лирических произведениях такие слова, как «портфель, микстура» и тому подобное!

— Но главное, нет никакого букета, букета! Одни честные мысли нельзя назвать поэзией... — отзывался Тургенев.

Он не скрывал от Некрасова своего отношения к его творчеству и однажды высказал прямо в глаза:

— Надеюсь, ты понимаешь, что мы для твоей же пользы выражаем наше искреннее мнение.

— Да с чего вы взяли, что я сержусь? — ответил Некрасов.

— Любезный друг, твой стих тяжеловесен, в нем нет изящной формы — это огромный недостаток в поэте, — усилил нападение Боткин.

— Ты слишком напирал в своих стихах на реальность, — заметил Тургенев.

— Да, да! Этого никак нельзя! — подхватил Боткин. — Это коробит людей с художественным вкусом, режет им ухо. Поэзия, любезный друг, заключается не в твоей реальности, а в изяществе формы и в красоте темы.

— Вчера мы с Боткиным были в гостях у одной женщины с большим поэтическим чутьем, — сказал Тургенев, — она читает в оригинале Гёте, Шиллера, Байрона. Я познакомил ее с твоим стихотворением «Еду ли ночью по улице темной». Она слушала очень внимательно, и, когда я кончил, знаешь, что она воскликнула? «Это не поэзия! Он не поэт!»

— Да, да... — подтвердил Боткин.

— Я знаю, что мои стихи не могут нравиться светским дамам, — возразил Некрасов.

— Нельзя, любезный друг, так свысока относиться к мнению светских женщин, — рассердился Боткин. — Даже Пушкин, Лермонтов и те дорожили их одобрением, читали им свои произведения, прежде чем отдавали печатать.

— Если я стану подражателем, то никуда не буду годен. У всякого писателя есть творческая своеобразность, у меня — реальность.

Боткин словно обрадовался, услышав это признание Некрасова:

— Вот именно! Мы и хлопчем, чтобы в твоих стихах не было грубой реальности. Ты на ложной дороге. Брось воспевать любовь ямщиков, огородников и всю деревенщину. Это режет ухо. Напрасно воспевать гнойные раны общест-

венной жизни. Не увлекайся, пожалуйста, тем, что мальчишки и невежды восхищаются подобными стихами, а слушайся людей, знающих толк в изящной поэзии.

Некрасов молча ходил по комнате, но вдруг резко обернулся и произнес твердо:

— Вы, господа, забыли одно, что каждый писатель передает то, что глубоко прочувствовал. Мне с детства выпало на долю видеть страдания русского мужика от холода, голода и всяких жестокостей. И я не могу отвергать высокие человеческие чувства в простом народе. Это мотивы моих стихов... А светское общество пусть не читает моих стихов. Я не для него пишу!

— Значит, ты пишешь для безграмотного мужика! — съязвил Боткин.

— Мне лучше тебя известно, что есть много грамотных мужиков, а скоро русский народ будет весь грамотен, хотя у него нет учителей!

Авдотья Панаева, ближайший друг поэта, свидетельница этого горячего спора, почти дословно его записала.

Гораздо прозорливее был Достоевский, сказав:

«Некрасов в ряду поэтов должен прямо стоять за Пушкиным и Лермонтовым».

Да и Тургенев по прошествии лет изменил свой взгляд на Некрасова и признался: «Струны, которые его поэзия заставляет звенеть, — струны хорошие». Так воздействовала на него поэма «Кому на Руси жить хорошо».

Поэма эта — венец творчества поэта — дала Некрасову право говорить:

Я лиру посвятил народу своему,  
Быть может, я умру неведомый ему,  
Но я ему служил — и сердцем я спокоен...

Все это свершилось не сразу, не скоро. Признание шло медленно, с трудом. А пока Некрасову приходилось довольствоваться ролью критика в «Литературной газете» и в «Отечественных записках». Но уже поговаривали о его намерении издавать свой журнал.

Критик он был действительно чуткий. Принадлежит ему и честь «открытия» писателя-гения.

Случилось это майским днем 1845 года, ставшим достопамятным в истории отечественной литературы. К двери квартиры Некрасова робко подошел странного вида молодой человек.

Редкая бородка подчеркивала бледность его удлинённого лица. На окружающее он глядел устало, почти равнодушно, но глаза его горели сильным внутренним огнем. Одежда на нем была не то что бедная, а, скорее, небрежная, так как владелец ее, очевидно, нисколько не заботился о своей внешности.

Он неуверенно стукнул молоточком, привязанным к ручке двери.

Владелец квартиры сам открыл дверь, бросил недоумевающий взгляд на пришельца, спросил:

— Что вам угодно?

Ответа не последовало. Некрасов нетерпеливо повторил вопрос, добавив:

— Мне некогда!

Молодой человек растерянно переступил с ноги на ногу и, вероятно догадавшись, что его принимают за просителя, коих множество бродит по столице, ответил, запинаясь:

— От Григоровича я... вашего знакомого... Советовал мне просить вас прочесть... вот рукопись. Моя...

— Ну что ж, оставьте. Григорович-то сам читал ее?

— Не удосужился... Я ведь писатель начинающий, это моя первая вещь.

— А мне бог велел читать все, что приносят, — так, значит?

— Ежели затрудняю, извините! — Проситель отвел руку, державшую свернутую трубкою рукопись.

— Нет-нет, давайте! — Что-то необычное, странное было в глазах и во всем облике неведомого автора, и Некрасов, пожалев о своей резкости, пообещал: — Прочту вскорости, не задержу.

— Благодарю.

Они расстались, чтобы встретиться негаданно быстро — уже в ближайшую ночь на рассвете — и с тех пор стать друзьями.

Пока же Некрасов бросил рукопись на стол в своем кабинете и занялся писанием неотложной статьи для «Литературной газеты». А Достоевский — это был он — отправился куда глаза глядят.

Душа его терзалась. Повесть «Бедные люди» писал он страстно, почти со слезами. Но временами ему казалось: «Неужто все это, все эти минуты, которые я переживаю с пером в руке над этой повестью, — все это ложь, мираж, неверное чувство?»

Мнительность и неуверенность в себе лишали его покоя, перо валилось из рук, хотелось порвать написанное. Однако тут же что-то вновь заставляло писать не отрываясь.

Так тянулась и минула зима, наступила весна, и начались сказочные петербургские белые ночи. Есть в них какая-то колдовская сила, заставляющая мечтать и поступать по-особенному.

Не потому ли начинающий писатель рискнул отдать свое первое произведение на суд критика Некрасова, взыскательность которого ценил сам Виссарион Белинский.

Бревенчатый, пахнувший смолой и сыростью канал Фонтанки, скрытый за туманной дымкой Дворцовый мост, сфинксы, невесты откуда попавшие на величавую набережную Невы, тихие, неторопливые воды канала возле старых Петровских верфей — Новой Голландии, — ни в каком другом городе мира, кроме Петербурга, нет таких обширных площадей, а рядом неожиданно узких и запутанных закоулков.

Автор «Бедных людей» бродил по городу бесцельно, как праздный гуляка, с одной всепоглощающей мыслью: «Какой приговор придется услышать?»

К вечеру он случайно оказался у приятеля и допоздна вслух читал с ним — в который раз! — «Мертвые души». Так повелось тогда у молодежи. Сойдутся двое или трое и решают: «А не почитать ли нам, господа, Гоголя?» Усядутся и читают вместе.

Некрасов же коротал этот вечер с литератором Григоровичем. Среди разговора, вспомнив об утреннем визитере, он спросил:

— Что знаешь о его повести?

— Ничего! — признался Григорович. — Но сам он человек необычайный.

— Чем?

— Признаться, и этого не могу объяснить, однако чувствую в нем какую-то огромную внутреннюю силу.

— Давай на пробу прочитаем его рукопись. Страниц десяти достаточно будет, чтобы заметить, талантлив ли автор.

— Согласен!

Прочли десять страниц.

— Читай дальше! — сказал Некрасов.

Еще десять страниц прочли.

Чередуюсь, когда один уставал, они читали вслух всю ночь до рассвета.

Голос Некрасова дрогнул, когда он читал о том, как умер студент и как отец побежал за гробом сына. В сильнейшем волнении Некрасов стукнул ладонью по рукописи, воскликнул:

— Ах, чтоб его!

Большая повесть была прочитана сразу, что называется в один присест.

— Пойдем к Достоевскому! Сейчас, немедленно! — предложил Григорович.

— Неудобно, спит человек... — колебался Некрасов.

— Ничего, что спит, мы разбудим его, это выше сна!

— Правда, хорошего дела никогда не надо откладывать. Пойдем! — согласился Некрасов.

Такое решение было вовсе не в его натуре. Обычно замкнутый, сдержанный, Некрасов не был склонен к внезапным, из ряда вон выходящим поступкам.

Они отправились к автору. А тот только что заснул, вернувшись от приятеля, с которым вслух перечитывал «Мертвые души». Нетрудно представить его состояние, когда вдруг он услышал возбужденные голоса над своим ухом:



— Вставайте! Поздравляем!.. Чудо, что вы написали!.. Замечательно!..

Дальнейшее тоже состояло из одних восторженных восклицаний, несвязных, торопливых слов, притом автора трясли за руки, обнимали...

За короткое время бурного свидания они успели многое высказать о правде искусства, вспомнить любимого всеми Гоголя и, конечно, заговорить о Белинском.

— Сегодня же отнесу ему вашу повесть! — решительно заявил Некрасов.

— Не надо, боюсь... — растерялся Достоевский.

— Познакомьтесь с ним, увидите, какой он замечательный, человек-то какой! Что за душа!

Восторженность не оставляла Некрасова, он тряс обеими руками плечи Достоевского.

— Ну, теперь спите, спите, мы уходим, а днем пожалуйста ко мне.

Но разве возможно уснуть после такой необъятной радости, такого успеха! И было особенно тепло оттого, что явились люди в счастливом порыве сообщить драгоценную весть, которая «выше сна».

Как и обещал, Некрасов в тот же день отнес рукопись Белинскому. Он благоговел перед ним и любил его, как никого в жизни.

— Новый Гоголь явился! — закричал Некрасов с порога, потрясая повестью «Бедные люди».

— У вас Гоголи как грибы растут... — заметил Белинский. Однако рукопись взял и даже пообещал прочесть ее без задержки.

И когда к вечеру Некрасов опять зашел к нему, великий критик, не дожидаясь вопроса, воскликнул:

— Приведите, приведите его скорее!

Горячо любя и целиком отдавая себя литературе, Некрасов умел извлекать из нее и личную пользу. Видно, жестокие уроки, преподанные ему жизнью в юные годы, научили

быть практичным. Он начал издавать книги, приносящие хороший доход. Так, он выпускает «Петербургский сборник», в котором участвуют Белинский, Достоевский, Герцен, Майков и другие лучшие писатели, поэты и публицисты. Сборник быстро разошелся, составитель его получил изрядную прибыль.

Позади остались дни, когда поэт голодал, страдал от холода. Уже как давнее воспоминание зазвучали строки:

Помнишь ли день, как больной и голодный  
Я унывал, выбивался из сил?  
В комнате нашей, пустой и холодной,  
Пар от дыханья волнами ходил.  
Помнишь ли труб заунывные звуки,  
Брызги дождя, полусвет, полутьму?

Пришло время, когда стало возможным думать о своем журнале. Но осуществить это было не просто. Правительство Николая Первого, видя в печати источник всякой крамолы, запретило создание новых газет и журналов. Поэтому оставалось только одно — найти подходящий журнал и купить право издания.

Выбор был не велик: «Москвитянин», «Русский вестник», «Библиотека для чтения», «Маяк» и некоторые другие журналы. Большинство их находилось не в блестящем состоянии, и владельцы, вероятно, согласились бы уступить свои права, однако направление этих журналов не вполне или даже совсем не отвечало передовым общественным требованиям.

Некрасов и Панаев засиживались допоздна, обсуждая возможности приобретения своего печатного органа. Перебирали названия то одного, то другого, но все оказывались неподходящими. Вдруг однажды, уже на рассвете, Панаев воскликнул:

— Нашел!

— Что?

— «Современник»!

— В самом деле, чего лучше! Как это сразу не при-

шло в голову? И название вполне соответствует нашим замыслам.

Вскоре в столице и в провинциальных российских городах появились огромные рекламные листы, на которых аршинными буквами сообщалось о выходе нового «Современника». Имя Некрасова стояло в числе основных редакторов.

Расходы на рекламу были невиданные. Панаев даже выразил Белинскому сомнение:

— Как бы эта затея Некрасова нас не разорила.

— Нам с вами нечего учить Некрасова, — возразил Белинский. — Ну что мы смыслим, ведь мы младенцы в коммерческих расчетах. Разве мы с вами сумели бы устроить такой кредит в типографии и с бумажным фабрикантом, как он? Нам на рубль не дали бы кредиту, а он устроил так, что на тысячи может кредитоваться. Нам уж в хозяйственную часть нечего и соваться.

Редактор Некрасов ввел и другое новшество: за писательский труд в «Современнике» стали платить гораздо больше, чем в прочих журналах.

Кое-кто говорил:

— Ведь это сумасшествие платить такие баснословные гонорары!

— Нисколько! — посмеивался Некрасов. — Это позволит нам привлечь лучшие литературные силы, что, в свою очередь, поднимет подписку. А если журнал пойдет хорошо, то мы еще прибавим гонорар: стыдно учитывать сотрудников. Пора, чтобы в России стало возможным существовать на литературный заработок.

Расчеты Некрасова вполне оправдались. Новый «Современник» сразу завоевал небывалый успех. По случаю выхода первого номера в редакции был затеян торжественный обед; и с тех пор повелось такие общие обеды устраивать каждый месяц по выходе очередной книжки журнала.

Росла, ширилась слава Некрасова-редактора, Некрасова-издателя и слава поэта Некрасова.

## ПОЭТ, ЦАРЬ И НАРОД

В просторном кабинете Некрасова нарядные светлые обои, шелковые занавески, большой письменный стол на резных ножках, на нем бронзовая чернильница, мраморная подставка для перьев, песочница в виде вазы, пресс, изображающий лежащую собаку. Перед столом кресло, обитое зеленым сафьяном. На полу ковер из тигровой шкуры.

Стенные часы звонко отсчитали одиннадцать раз. Солнце тускло глядит в окно. Хмурое северное утро скорее напоминает предвечерние сумерки.

Некрасов вошел в кабинет. Накануне он крупно играл в карты в клубе и, хотя вернулся с выигрышем, был не в духе.

Он подошел к столу, принялся что-то искать. Здесь царил хаос. Книжки, журналы, газеты, рукописи, корректурные листы валялись грудями и были брошены даже на подоконники.

Хозяин кабинета с удивительной легкостью разбирался в этом беспорядочном нагромождении и обычно сразу находил то, что искал. Но на этот раз обнаружить нужное ему не удалось.

— Петр!

— Что угодно-с?

В кабинет вразвалку вошел слуга. В облике его не было ничего присущего лакейской профессии: ни подобранности, ни старательно приличных манер, ни тщательности в одежде.

Наоборот, Петр имел самый невзрачный вид. Обтрепанный сюртук был явно ему не по росту и с такими длинными полами, что они доходили ему почти до пят, а из-под старых панталон, подвернутых внизу, виднелись тяжелые сапожищи; небритые щеки покрывала седоватая щетина, и в одном ухе торчала серьга. Прежде чем ответить на вопрос, Петр растерянно и часто моргал.

Некрасов отдал слуге свой костюм, но тот упорно продолжал ходить в оттрепанном сюртуке, говоря:

— Вот доношу, Николай Алексеевич, свой сюртук, тогда ваш костюм надену.

— Почему вы терпите такого неряху? — спрашивали знакомые Некрасова.

— За то, что могу доверять ему бумаги, которые рассылаю с ним.

Предшественники Петра не отличались подобным достоинством.

Действительно, прежний слуга, как и дворник, оказались на службе жандармов Третьего отделения «Собственной Его Величества Канцелярии». Оба доносчика тщательно следили за каждым шагом Некрасова и не гнушались таскать его бумаги, казавшиеся им подозрительными.

— Петр, опять ты хозяйничал на столе! Куда девалось письмо, которое я вчера тут положил? — обратился Некрасов к слуге.

— Право слово, барин, я только пыль стер, — растерянно моргая глазами, отвечал Петр.

— Не смей и пыли стирать! После твоей уборки я никогда ничего не нахожу.

— Ну вот-с, значит, пусть все покрывается пылью? Так не годится... И напрасно тревожитесь, барин, письмо ваше вот-с, под чернильницей.

— Ладно! Сознаюсь, зря ворчу, сам вчера второпях его там положил.

Раздражался Некрасов легко, зато и быстро остывал, особенно если чувствовал свою неправоту.

Злополучное письмо было от министра просвещения графа Уварова, извещавшего издателей «Современника», что «правительство имеет за ними особенное наблюдение, и если впредь замечено будет в оных что-либо предосудительное или двусмысленное, то они лично подвергнуты будут не только запрещению продолжать свой журнал, но и строгому взысканию».

Некрасов прочел бумагу министра, нахмурился. Его, как редактора, уже вызывали в Третье отделение, «вразумляли», грозя всяческими карами.

Еще ранее вызывал к себе и председатель негласного комитета по делам печати князь Меншиков и от имени само-

го царя, Николая Первого, сделал строжайшее предупреждение:

— Ваш долг не только отклонять все статьи предосудительного направления, но содействовать своим журналом правительству в охранении публики от заражения идеями, вредными нравственности и общественному порядку.

Князь Меншиков произнес эти слова единым духом, не отрывая многозначительного взгляда от крамольного редактора. Некрасов знал, отчего он заслужил такую немилость свыше. Друзья уже сообщили ему, что агент Третьего отделения, низкопробный писатель Булгарин, в свое время принимавший участие в травле самого Пушкина, написал донос и на него, Некрасова. Булгарин доносил, будто редактор «Современника» выступает «с возмутительными предсказаниями насчет будущего России».

Некрасов взял из серебряного ящика на столе сигару и, тщательно отрезав маленькими ножницами кончик, раскурил ее от огня, поданного слугой.

— Иди!

Петр, часто поморгав глазами, вышел из кабинета.

Кресло, в котором глубоко уселся Некрасов, располагало к спокойному размышлению.

Положение, сложившееся последнее время, требовало разумного, осторожного решения.

Таинственность, окружающая негласный комитет, усиливает страх, и без того царивший в обществе. Возможно, что именно для такой цели деятельность комитета и окутывают сугубой секретностью. Точно известно лишь, что учрежден он для обуздания свободомыслия, которое, по мнению правительства, становится чрезмерным.

Идут панические слухи, что негласный комитет сосредоточит внимание на розыске либерально настроенных общественных деятелей и что они подвергнутся жесточайшим карам. Говорят, что даже министра просвещения не допускают на обсуждения негласного комитета, что обвиняемым не будут предъявлять никаких доказательств их преступлений, а сразу подвергнут тяжким наказаниям.



Тайные доносы и слежка все более входят в быт. Ужас овладевает мыслящими людьми — все опасаются, что в любой день могут быть схвачены, разлучены с семьей, родными, друзьями.

Цензура свирепствует. Шесть повестей, намеченных к печатанию в «Современнике», запрещено опубликовывать. В самом невинном рассказе о бедном чиновнике цензор усмотрел намерение выставить плачевное положение всего русского чиновничества.

Отечественную литературу в журнале приходится заменять переводной. Но ведь в задачи «Современника» несколько не входит распространение иностранных произведений. А в ближайшем номере нечего печатать.

Сизые кольца сигарного дыма поднимаются к потолку. Пепел крепко держится на сигаре, хотя она уже наполовину сгорела.

Мысли Некрасова витают где-то далеко. Вдруг морщины на его лбу разглаживаются, усталое лицо освещается довольной улыбкой.

Выход найден! Надо самому или вдвоем, а то и втроем — так будет еще быстрее — написать роман для очередной книжки «Современника». К делу следует приступить немедленно, без малейшего отлагательства!

В тот же день Некрасов, его друг Авдотья Панаева и писатель Григорович приступили к обсуждению романа, который они задумали писать вместе.

Сначала долго не могли придумать сюжет. Наконец, по предложению Некрасова, остановились на том, что каждый напишет по главе, и чья глава окажется интереснее и лучше, то она и послужит завязкой романа.

Так и поступили. Вскоре Авдотья Панаева принесла свою главу о подкинутом младенце, который, по ее мысли, в дальнейшем может сделаться главным героем, испытывающим разные приключения в жизни. Григорович дал две странички с описанием природы. Некрасов пока не успел ничего сделать.

Таким образом глава, начатая Панаевой, стала завязкой

романа. Но Григорович тут же отпал как соавтор, так как для развития сюжета ему ничего не приходило в голову. Поэтому Панаева и Некрасов взялись вдвоем сочинять и дописывать своеобразно начатое произведение. Это было тем более не просто, что в русской литературе еще не было примера соавторства.

Несмотря на всяческие трудности, в короткое время удалось написать несколько глав романа, которому дали название: «Три страны света» — в предвидении странствований героя по свету.

В типографию в срок поступило новое произведение для очередного номера журнала. Казалось, что положение спасено. Однако радость оказалась преждевременной.

Гром грянул снова от цензора: «Печатать «Три страны света» не разрешается, пока авторы не представят весь роман в целом». Причины? Цензура должна убедиться, что продолжение романа будет нравственным.

Ну что же, пришлось давать объяснение господам цензорам «Современника».

Соавторы дружно смеялись, когда писали, что в этом романе более лиц добрых и благородных, чем дурных. Собственно, дурных только двое — Кирпичев, грубый и порочный невежа, и горбун Добротин, человек мстительный и злой. «Ни тот, ни другой торжествовать не будут, а погибнут за свои проделки. Затем есть еще несколько лиц, представленных более со смешной, чем с дурной стороны», — обещали авторы романа и заверяли, что впечатление он будет производить светлое и отрадное, кончится счастливо. Главное — порок не восторжествует.

Цензура удовлетворилась этим заверением. Роман увидел свет, и журнал вышел из трудного положения.

Некрасов не самообольщался случайным успехом. Литературный уровень «Современника» определяли «Детство» и «Севастопольские рассказы» Л. Н. Толстого, отрывки из «Фрегата «Паллады» И. А. Гончарова, «Муму», «Записки охотника», «Рудин» И. С. Тургенева и другие замечательные произведения.

В журнале печатались и стихотворения самого Некрасова.

Поэтическое творчество его год от года крепло, обретая все большую политическую остроту. Стихи поэта, изданные отдельной книгой, имели огромный успех.

Иван Сергеевич Тургенев так отозвался о растущей славе Некрасова: «Что ни толкуй его противники, а популярнее его нет теперь у нас писателей, и поделом». И как о величайшей сенсации Тургенев из Парижа сообщил Герцену, жившему в Лондоне: «Из России я имею известие о громадном и неслыханном успехе стихотворений Некрасова. 1400 экземпляров разлетелись в две недели. Этого не бывало со времен Пушкина».

В лавках, где продавалась книга поэта, действительно творилось нечто дотоле небывалое. Слух о том, что второе издание запрещено, еще более подогрел спрос. Книгу брали нарасхват. Цена на нее с полутора рублей подскочила до шести в столице, а в провинции еще выше — до восемнадцати рублей!

Чернышевский писал, что стихотворения Некрасова вызывают «восторг всеобщий. Едва ли первые поэмы Пушкина, едва ли «Ревизор» или «Мертвые души» имели такой успех».

Это отнюдь не являлось преувеличением. Со времен Пушкина не было примера, чтобы книжка поэта с такой быстротой исчезала с прилавков.

Беспримерным был и переполох в правительственных кругах. Председатель цензурного комитета известил министра просвещения о «предосудительном направлении мыслей» Некрасова. Цензор, допустивший выход в свет его книги, получил строжайший выговор и был отстранен от должности.

Мало того, попечителю Московского учебного округа было указано принять решительные меры, чтобы в периодических изданиях «не было печатаемо ни статей, касающихся этой книги, ни, в особенности, выписок из оной». Со своей стороны министерство внутренних дел секретным циркуляром предписало департаменту полиции строго следить, что-

бы «Стихотворения Некрасова ни в коем случае не переиздавались».

«Запретить», «следить», «наблюдать», «предписать», «указать», «пресечь» и прочие слова из полицейско-жандармского лексикона замелькали в различных правительственных циркулярах и приказах секретных, полусекретных, вызванных книгой Некрасова.

Поэт тяжело переживал это мрачное время. Днями он не выходил из дома, никого не принимал у себя, хандрил. Перо валялось у него из рук. Тяжелое настроение не находило исхода.

— Почему не видно ваших новых стихов в «Современнике»? — спросил один из друзей.

Поэт ответил:

— У меня нет желания писать стихи, только чтобы прочесть их двум-трем лицам и затем спрятать в ящик стола... Да и такая пустота в голове: никаких мыслей нет, чтобы писать.

Но случилось так, что как раз в это время он написал одно из лучших своих стихотворений, которое, еще задолго до того как появилось в печати, стали читать на литературных вечерах и, уж конечно, на студенческих сборищах.

Осенние свинцовые тучи плывут низко и медленно. Плотные нити дождя соединяют небо и землю. Стекла окон заволоклись водяным слоем.

Некрасов с утра бродит по кабинету в халате: несколько шагов от письменного стола к окну и обратно. Не пишется. Хандра одолевает все более.

Мягкий ковер делает шаги неслышными, только дождь упорно барабанит в стекло. Некрасов рассеянно останавливается у окна. Но что-то вдруг приковывает его взгляд.

Сквозь дождевую завесу происходящее на улице кажется тяжким сновидением.

Напротив квартиры Некрасова дом, где живет министр государственных имуществ — важный вельможа. Возле его

дома обычно толкуются просители: крестьяне-ходоки, пришедшие в столицу искать правду, изгнанные с должности мелкие чиновники или юркие ходатаи по чужим делам.

Только горькая нужда может заставить так терпеливо стоять под дождем. Обтрепанные, в лаптях крестьяне ожидают у парадного подъезда выхода вельможи. Карета ему уже подана. Толстый кучер в шляпе с цветастыми павлиньими перьями с трудом сдерживает сытых, застоявшихся лошадей.

Вельможа вот-вот появится. Надо повалиться в ноги и успеть сунуть ему слезницу-прошение. Седобородые старики робко жмутся друг к другу. Видно, явились они спозаранку, промокли, продрогли. Железный навес над подъездом едва укрывает их от потоков дождя.

Однако приходится покинуть и эту защиту. Швейцар и дворник с метлой гонят прочь. Ходоки покорно поднимаются со ступенек крыльца, собирают котомки.

Некрасов видит, как дворник толкает их метлой в спину, как они пытаются найти пристанище у выступа дома, но и отсюда их гонит появившийся из своей полосатой будки городской, и как, наконец, они поплелись под проливным дождем, на ветру.

Лицо Некрасова искажается гневом, руки нервно теребят усы, губы что-то шепчут.

Наверно, поэт сам не заметил, как отошел от окна, сел за письменный стол, взял в руки перо. И написал первые строки:

Вот парадный подъезд. По торжественным дням,  
Одержимый холопским недугом,  
Целый город с каким-то испугом  
Подъезжает к заветным дверям;  
Записав свое имя и званье,  
Разъезжаются гости домой,  
Так глубоко довольны собой,  
Что подумаешь — в том их призванье!..

Строка бежит за строкой... Вдохновение бывает добрым, но сейчас оно гневное, могучее.

Раз я видел, сюда мужики подошли,  
Деревенские русские люди,  
Помолились на церковь и стали вдали,  
Свесив русые головы к груди;  
Показался швейцар. «Допусти», — говорят  
С выраженьем надежды и муки.  
Он гостей оглядел: некрасивы на взгляд!  
Загорелые лица и руки.  
Армячишка худой на плечах,  
По котомке на спинах согнутых,  
Крест на шее и кровь на ногах,  
В самодельные лапти обутых  
(Знать, брели-то долгонько они  
Из каких-нибудь дальних губерний).  
Кто-то крикнул швейцару: «Гони!  
Наш не любит оборванной черни!»  
И захлопнулась дверь...

Некрасов пишет и пишет... Иногда зашагает по кабинету, бросит взгляд в окно — ходоки с котомками уже скрылись, но он будто еще видит их, все так же гонимых, — и снова садится за стол.

...Родная земля!

Назови мне такую обитель,  
Я такого угла не видал,  
Где бы сеятель твой и хранитель,  
Где бы русский мужик не стонал?  
Стонет он по полям, по дорогам,  
Стонет он по тюрьмам, по острогам,  
В рудниках, на железной цепи;  
Стонет он под овинном, под стогом,  
Под телегой, ночуя в степи;  
Стонет в собственном бедном домишке,  
Свету божьего солнца не рад;  
Стонет в каждом глухом городишке,  
У подъезда судов и палат...

Осенний сумрачный день словно озарился ярким лучом солнца. В этот день родилась поэма, пробуждавшая добрые чувства к извечно гонимому, горемычному кормильцу — русскому мужику.



## КАРАБИХА

Сразу за городской заставой Ярославля начинается подъем к Поклонной горе. И затем Большая Московская дорога то взбирается на холмы, то сбегает вниз и тогда вьется меж покрытых лесом холмов.

Волга отсюда не видна. Однако присутствие ее угадывается за вершинами деревьев в зеленой дали. Еще в давние времена столбовая дорога пролегла тут через дремучие леса, чтобы соединить стольный град Москву с Волгой-матушкой. Испокон веков тракт этот очень оживлен.

Поющих колокольчиков,  
Воркующих бубенчиков  
Наслушаешься всласть...

Мчатся почтовые и помещичьи тройки, обгоняя неторопливые крестьянские дроги и вовсе медленные обозы с тяжелой, покрытой лыковыми рогожами кладью. Натужно скрипят колеса, запах лошадиного пота смешивается с запахом дегтя и сена.

На первый взгляд сказать позвольте вам,  
Чем пахнут вообще дороги наши —  
То запах дегтя с сеном пополам.

Село Карабиха стоит чуть в стороне от большой дороги. Рядом горка, носящая это же звучное название. В горку упирается конец гряды, тянущейся от берегов Волги. Дальше начинается крутой спуск к бескрайней равнине.

Усадьба Некрасова, как и село, возле которого она расположена, носит название Карабиха. Досталась она поэту не по наследству, а после долгих поисков места, где жилось бы вольно среди родной русской природы.

В пореформенной России (после 1861 года) начали продаваться многие помещичьи имения. Газеты пестрели объявлениями о продаже земель, экипажей, всякого инвентаря, оранжерей, конских заводов, псарен. Старый помещичий быт погружался в сумерки.

Вотчина князей Голицыных — Карабиха испытала ту же судьбу: перешла в руки нового владельца «со всеми лесами, сенными покосами, водами, рыбными ловлями и со всеми угодьями, а также со всеми другими заведениями, мельницами, винокуренным заводом и со всей движимостью». Вместе с усадьбой была продана и обстановка барского дома.

Длинная, широкая аллея, пышно именуемая проспектом, прорезает всю усадьбу от въездных ворот до барского дома, стоящего в глубине. Дом этот двухэтажный, с антресолями (еще одним верхним этажом, только более низким, чем другие) и двумя боковыми пристроенными крыльями — флигелями. Бельведер — специальная постройка, возвышающаяся над домом, откуда открывается красивый вид, и портики — крытые галереи с колоннадой на переднем и заднем фасадах — придают ему нарядный вид.

В свое время князья Голицыны пристроили к дому и внушительные каменные аркады. Достигая второго этажа, они образовали террасу, настолько широкую, что парный экипаж князей мог подъезжать прямо к парадным дверям гостиной.

За домом раскинулся парк с прихотливыми дорожками, лужайками, беседками и всякими другими затеями. Парк завершается оврагом, густо поросшим старыми липами, вязами, орешником. Прозрачные струи родников, собранные в общий желоб, шумным каскадом ниспадают в пруд. Ручей из этого пруда вытекает в другой пруд, побольше, а тот, в свою очередь, питает речку Которосль — приток Волги.

В самую жаркую пору здесь, в тени вековых деревьев, живоительно свежо, и даже в ветреную погоду покойно и тихо.

Огромный дом, широкий двор,  
Пруд, ивами обсаженный,  
Посреди двора,  
Над домом башня высится,  
Балконом окруженная,  
Над башней шпиль торчит...

...Охвачен вдруг дремотою и ленью,  
В полдневный зной вошел я в старый сад.  
В нем семь ключей сверкают и гремят.

Внимая их порывистому пенью,  
Вершины лип таинственно шумят.  
Я их люблю: под их зеленой сенью  
Тиха, как ночь, и легкая, как тень,  
Ты, мать моя, бродила каждый день.

Так писал поэт о своей усадьбе.

Своя усадьба... Слова эти звучат значительно, наводя на мысль о помещичьем хозяйстве. Нет! Купив Карабиху, Некрасов не стремился к доходам. Карабиха стала только летним местопребыванием поэта. А управление усадьбой взял на себя брат Николая Алексеевича — Федор, поселившийся тут на постоянное жительство.

Не просто добраться из столицы в Карабиху. Железная дорога лишь после 1868 года дотянулась до Ярославля, потому приходится сходить с поезда в Твери, там пересаживаться на пароход и плыть по Волге до Ярославля, чтобы отсюда ехать на лошадях.

Каждый приезд поэта — праздник для обитателей усадьбы. Обычно он заранее извещает о своем прибытии. Едва нарочный-верховой из Ярославля доставит Федору Алексеевичу письмо от брата, в котором он сообщает о своем намерении приехать, как в Карабихе начинается сущий переполох.

Из флигеля, где останавливается Николай Алексеевич, выносят и чистят мебель, трясут ковры. Особое внимание уделяется охоте: стволы ружей доводятся до зеркального блеска, егеря совершенствуют дрессировку и натаску собак, охотники всех окрестных селений заранее извещаются о предстоящих облавах, совместных походах в лес, в поле, на болота.

Однако напрасно думать, что Некрасов приезжает сюда только ради охоты. Нигде ему так хорошо не работается, как в Карабихе. Тут он написал много замечательных стихотворений, первую часть поэмы «Современники» и всю поэму «Русские женщины». Вершина его творчества — поэма «Кому на Руси жить хорошо» — тоже в значительной мере создавалась в Карабихе.

Лихая тройка единым духом из Ярославля примчала в Карабиху. Промелькнули ворота усадьбы, колеса экипажа зашуршали гравием по аллее — проспекту. У барского дома кучер с маху остановил тройку. Смолк неугомонный колокольчик под дугой, лишь пристыжная, нетерпеливо мотая головой, еще позвякивала ожерельем из бубенцов.

— Добро пожаловать! — Федор Алексеевич поспешил с крыльца навстречу брату.

Николай Алексеевич ответно улыбнулся, но из коляски вышел не сразу. Лицо его было устало и бледно.

— Утомился с дороги?

— И нездоровится... Впрочем, пустяки, тут я отдыхаю и поправляюсь лучше, чем на заграничных курортах. Вода нашей Которосли мне полезнее морских купаний в Дьеппе. И воздух живительный...

Николай Алексеевич поднялся в приготовленные к его приезду комнаты во втором этаже. Широкая лестница сначала привела в столовую со стенными панно и большим, во весь рост, портретом Екатерины Второй. Портрет этот, заключенный в массивную золоченую раму, оставленный бывшими владельцами вместе с прочей обстановкой, почему-то всегда веселил поэта. И сейчас, мимоходом, он шутливо погрозил пальцем величественной императрице.

— Ты все такой же, — улыбнулся Федор Алексеевич.

— Я же говорю, что настроение мое тут сразу подымается.

Прошли маленький кабинет. Поэт работал в нем редко, предпочитая расположенный рядом зал.

Тяжелые темные портьеры на окнах и на балконной двери, камин из белого мрамора с зеркалом наверху придают залу торжественный вид. Часы на каминной подставке с бронзовым изображением собаки и чучела птиц: бекас, кряк-ва, тетерев, глухарь, дрофа — охотничьи трофеи Некрасова, — вот и все его украшения.

Высокая конторка с зеленым сукном на пюпитре занимает почетное место возле окна, глядящего в парк. Стопка бумаги и остро очиненные карандаши уже заботливо положены на



Николай Алексеевич Некрасов.  
*Фотография 1864 года.*





Карабиха. Вид с дороги на барский дом.



Псовая охота.  
Акварель П. Соколова. 1894 год.



# **МЕЧТЫ И ЗВУКИ.**

**СТИХОТВОРЕНИЯ**

**Н. Н.**

**САНКТПЕТЕРБУРГЪ.**

**1840.**

Обложка первого сборника стихотворений Н. А. Некрасова  
«Мечты и звуки».



Петербург. Сенная площадь.  
*Литография 1850-х годов.*



Сотрудники журнала «Современник».  
Картина А. Максимова.



Сотрудники журнала «Современник», писатели: И. С. Тургенев, В. А. Соллогуб, Л. Н. Толстой, Н. А. Некрасов, Д. В. Григорович, И. И. Панаев.

Где шесть кандидатов  
имеют неблагоприятные  
свидетельства на счет образа  
мысли редактора «Современника»,  
Гна Некрасова.

Должно наблюдать за  
ним.

А. И. Дубельт

31 окт: 1849.

Заметка Дубельта в деле Третьего отделения о Н. А. Некрасове.



# СОВРЕМЕННОСТЬ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ

ИЗДАВАЕМЫЙ СЪ 1847 ГОДА Н. ПАНДОВЫМЪ И Н. НЕКРАСОВЫМЪ

---

ТОМЪ LXII

---

САНКТПЕТЕРБУРГЪ

ВЪ ТИПОГРАФИИ ГЛАВНАГО ПИТАБА ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА  
ПО ВОЕННО-УЧЕБНЫМЪ ЗАВЕДЕНІЯМЪ

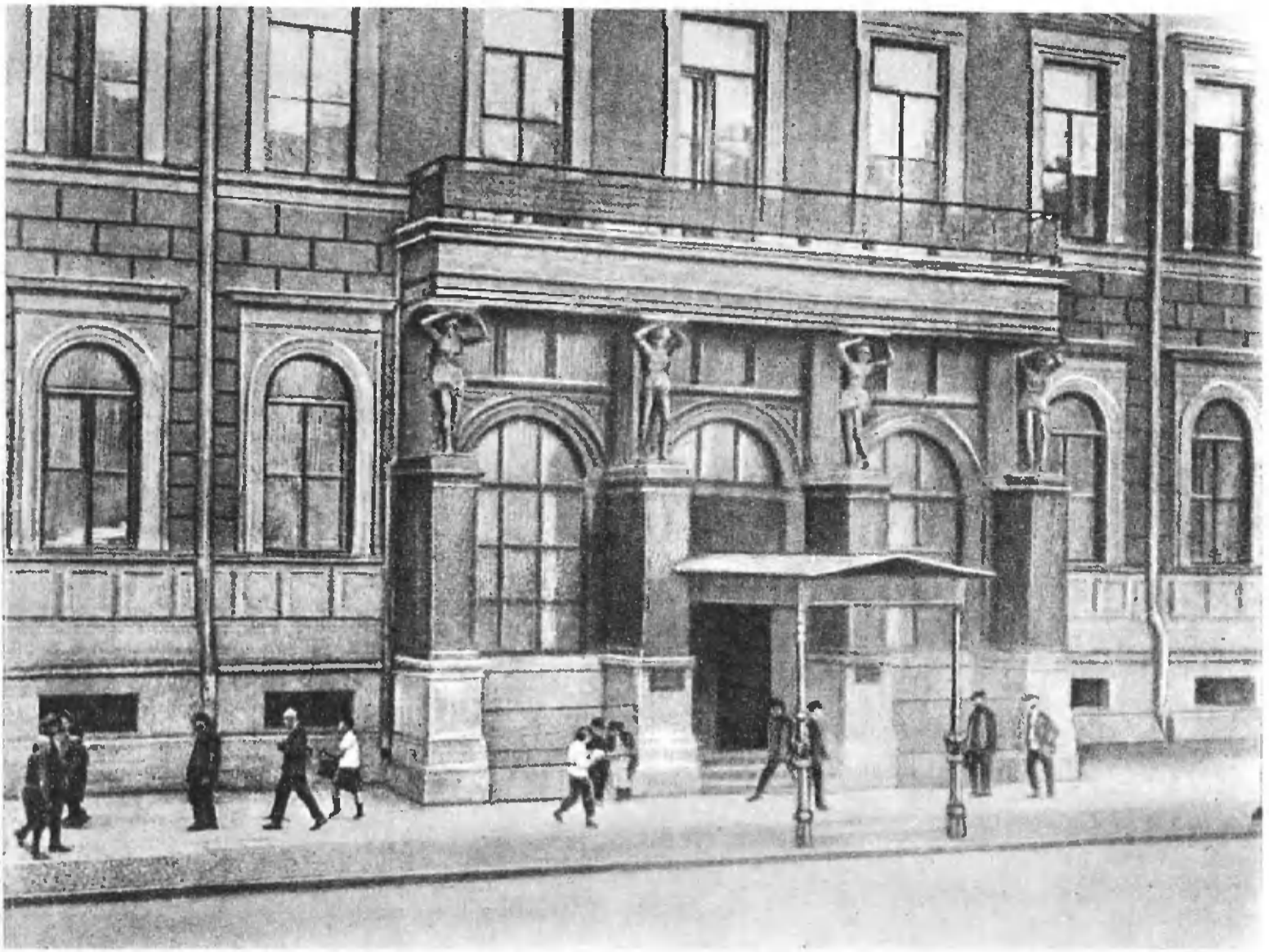
---

1857



Кабинет Н. А. Некрасова.





Парадный подъезд, который был виден из окна кабинета Некрасова.



Бурлаки.

Этюд И. Е. Репина к картине «Бурлаки» (1870—1873 гг.).

Стонетъ онъ по полямъ, по дорогамъ,  
 Стонетъ онъ по тюрьмамъ, по острогамъ,  
 Въ рудникахъ на желѣзной цѣпи:  
 Стонетъ онъ подъ овинкомъ, подъ стогомъ,  
 Подъ телегой, ночуя въ степи;  
 Стонетъ въ собственномъ бѣдномъ домишкѣ,  
 Свѣту Божьяго солнца не радъ:  
 Стонетъ въ каждомъ глухомъ городишкѣ  
 У подъѣзда судовъ и палатъ.  
 Выдь на Волгу: чей стонъ раздастся  
 Надъ великою русской рѣкой?  
 Этотъ стонъ у насъ пѣсней зовется —  
 То бурлаки идутъ бичевой!...  
 Всюду скорбные, скоронные звуки,  
 Всюду стонъ, надрывающій грудь,  
 Словно тяжкія древнія муки  
 Неусыпни въ народѣ заснуть....  
 О! во вѣки Тотъ памятенъ будетъ,  
 По чьему манюленью народъ  
 Вѣковую привычку забудетъ  
 И веселую пѣсню споетъ!

Вотъ! Вотъ! Весной многовари  
 тебе не такъ забывали поля  
 Какъ великою скорбью народи  
 Перемолвлена наша земля  
 Тутъ народъ такъ и стонъ... Эх,  
 сердечной,  
 Что же значитъ твой домъ безконечный  
 Ты приснешься, ипотенный сиво  
 ии, судей повинудъб закону,  
 Все, что могъ ты уже совершилъ —  
 Сохрани и твою, подобную стону  
 М. духовно навѣки оточилъ?

Корректурa стихотворения «Размышления у парадного подъезда»  
с правкой Н. А. Некрасова.



Несжатая полоса.  
*Иллюстрация Д. Шаринова, 1939 год.*







Савелий

(«Каму на Руса факт' хорошо»)

А. Лебедева

За что тебе, Савелиюшка,  
обучил Клейменкину, каторжнику?

А каторжника моего брата,  
ты, девушка!?

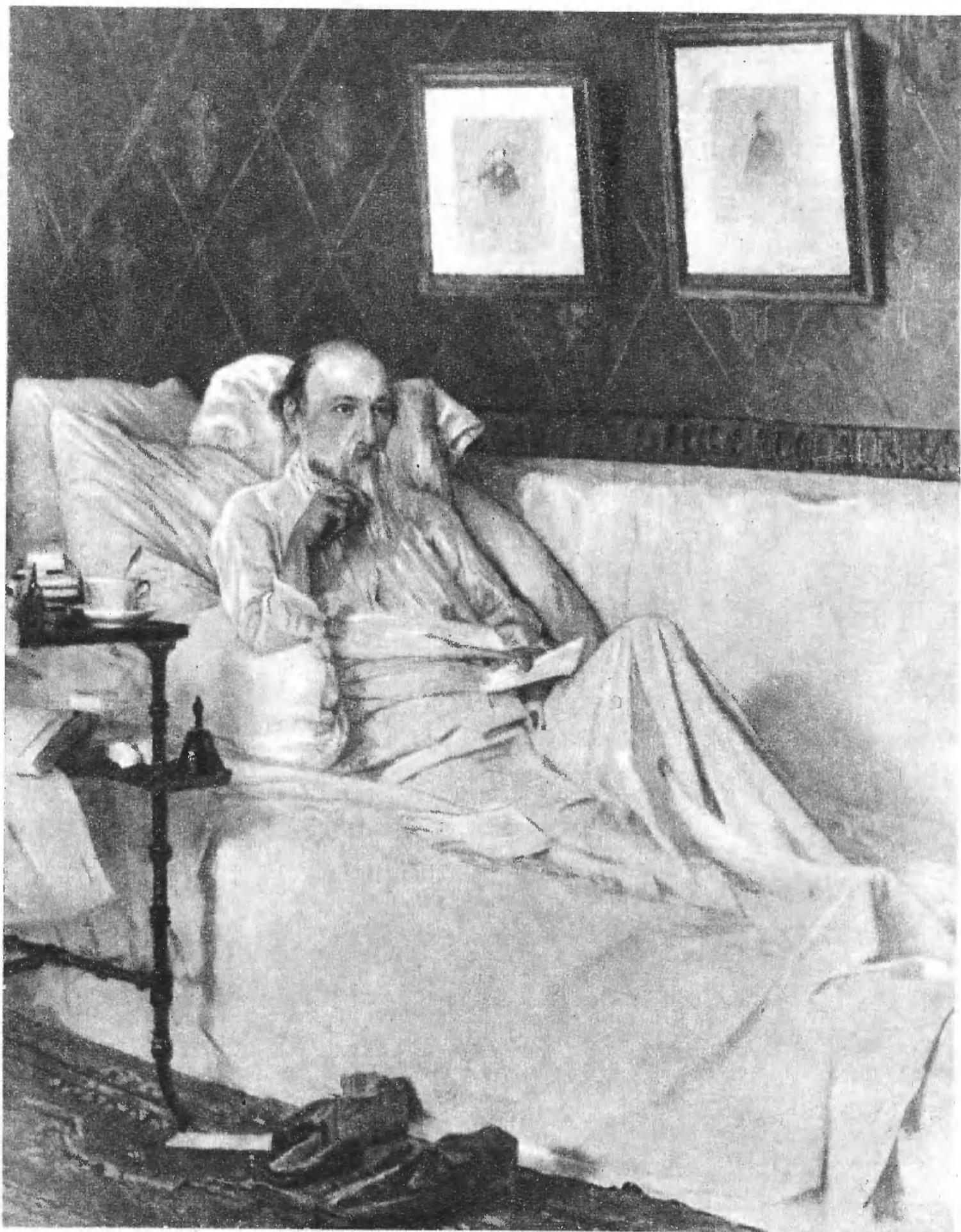
— Я, выученка!  
Я в землю каюца Фрося,  
Христована Христьянову  
Дубового закопану.....

Табл. 2<sup>а</sup>  
Стр. 115

«Савелий, богатырь святорусский».

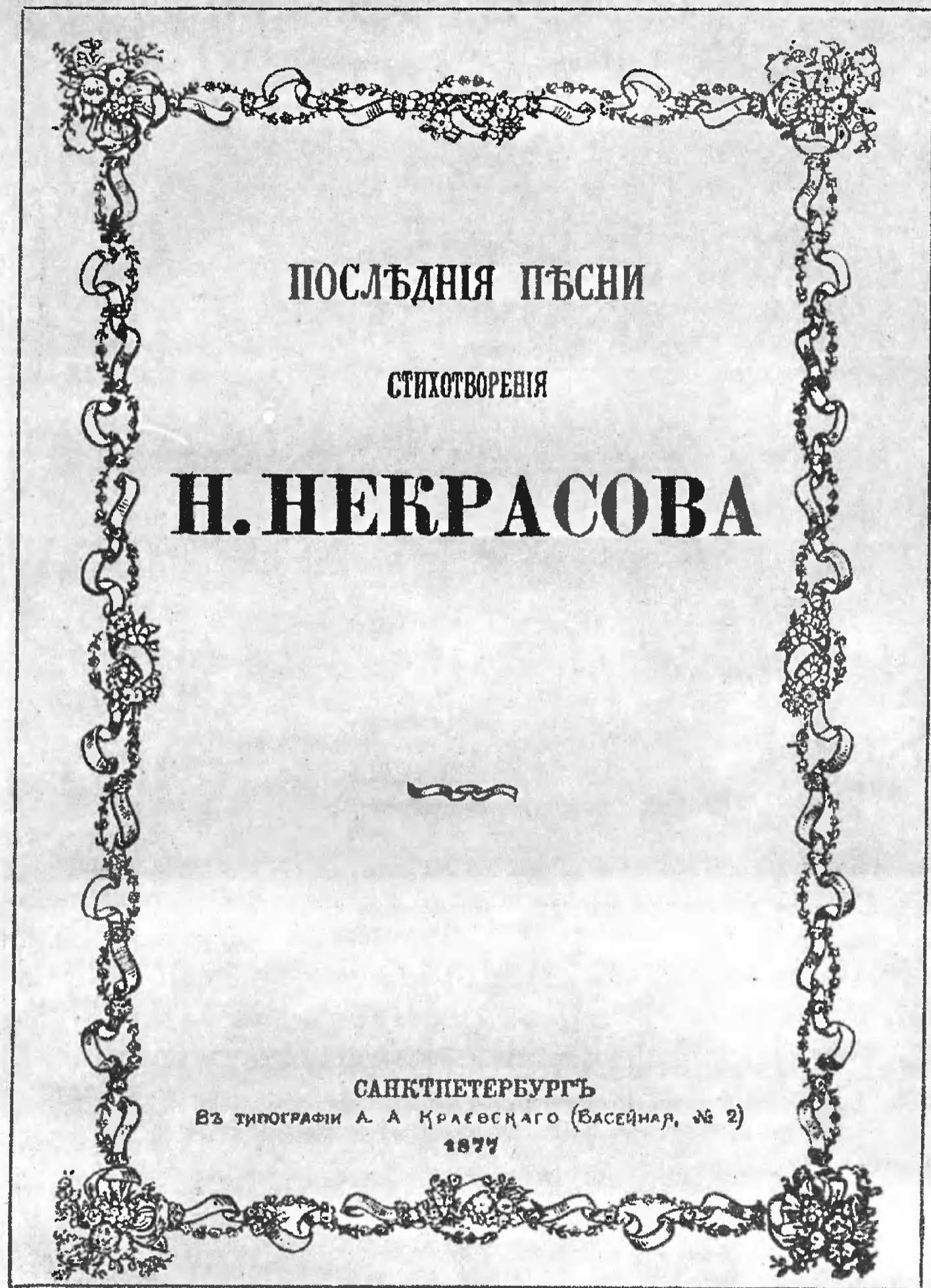
Иллюстрация А. Лебедева. 1877 год. Рисунок перечеркнут цензором.





Некрасов в период «Последних песен».  
Картина И. Крамского. 1877 год.





«Последние песни». Обложка

Обложка последнего сборника стихотворений Н. А. Некрасова.



Похороны Н. А. Некрасова.  
*Гравюра К. Крыжановского по рисунку А. Бальдингера. 1878 год.*

пюпитре — Федор Алексеевич хорошо изучил привычку брата прохаживаться по залу, а когда приходит вдохновение, стоя писать у конторки.

— Располагайся и отдыхай с пути... Моя жена и дети ждут не дождутся тебя и новых стихов.

— Ладно, будут и новые стихи, вот только я старею.

Братья еще раз обнялись. Во всем разные, они были друг к другу крепко привязаны.

Пребывание в Карабихе и впрямь действовало на Некрасова удивительно благотворно. Куда подевались усталость, хандра и другие недуги, привезенные им из столицы! Он начал много писать.

В усадьбе завелся обычай устраивать литературные чтения.

— Мы все ждем вас в парке! — однажды напомнила поэту жена его брата, Наталия Павловна.

— Небось надоел вам... — отнекивался он, однако недолго, и покорно отправлялся в глубь парка к родникам, где и в самые жаркие дни бывало прохладно.

Там собрались брат с женой и детьми, кое-кто из ближайших соседей по имению и заезжие гости, которых в Карабихе бывало всегда много.

Взрослые расположились на садовых скамейках и принесенных с собой креслах, а дети устроились на камнях у водяного каскада.

— «Кому на Руси жить хорошо»! — раздались голоса.

— Читал уже, и не раз.

— Готовы слушать вас без конца.

— Хорошо, прочту начало поэмы и что-нибудь из середины.

Некрасова уговаривать не приходилось, читал он охотно и просто, искренне стремясь доставить удовольствие своим слушателям:

В каком году — рассчитывай,  
В какой земле — угадывай,  
На столбовой дороженьке  
Сошлись семь мужиков:

Семь временнообязанных,  
Подтянутой губернии,  
Уезда Терпигорева,  
Пустопорожней волости,  
Из смежных деревень —  
Заплатова, Дырявина,  
Разутова, Знобишина,  
Горелова, Неелова,  
Неурожайка тож.  
Сошлись — и заспорили:  
Кому живется весело,  
Вольготно на Руси?

Некрасов умолк, озорно поглядел на детей, внимавших каждому его слову, и обратился к ним:

— А дальше я забыл.

Старшие мальчики, Саша и Коля, переглянулись: им уже была известна эта шутка, они ее ждали и в два голоса стали читать:

Роман сказал: помещику,  
Демьян сказал: чиновнику,  
Лука сказал: попу.  
Купчине толстопузому! —  
Сказали братья Губины,  
Иван и Митродор.  
Старик Пахом потужился  
И молвил, в землю глядячи:  
Вельможному боярину,  
Министру государеву.  
А Пров сказал: царю...

— Молодцы! — одобрил Некрасов юных чтецов. — Теперь, если хотите, я прочту отрывок из главы «Сельская ярмонка».

Слушатели знают, что это любимая поэтом строфа, которую он читает с особенным вдохновением.

Эх! Эх! придет ли времечко,  
Когда (приди, желанное!..)  
Дадут понять крестьянину,  
Что розь портрет портретику,  
Что книга книге розь?

Когда мужик не Блюхера  
И не милорда глупого —  
Белинского и Гоголя  
С базара понесет?  
Ой, люди, люди русские!  
Крестьяне православные!  
Слыхали ли когда-нибудь  
Вы эти имена?  
То имена великие,  
Носили их, прославили  
Заступники народные!  
Вот вам бы их портретики  
Повесить в ваших горенках,  
Их книги прочитать...

Всякий раз, читая эти строки, поэт испытывает горячее волнение. И сейчас глаза его оживились, а обычно негромкий голос зазвучал уверенно, мужественно. Последние слова он произнес так, будто видел перед собой тех, к кому обращал свою горькую речь.

Все молчали. Только все так же шумел родниковый каскад, будто споря с журчащим ручьем — кто полноводнее?

— А как вы написали эту поэму? — вдруг послышался голос Саши.

Маленький гимназист смотрел на дядю-поэта такими влюбленными глазами, что не ответить на его вопрос было невозможно.

— Верно, расскажите нам об этом! — поддержала Наталия Павловна, а за ней и другие.

Николай Алексеевич рассеянно потрогал седеющую бороду и своим негромким, глухим голосом начал:

— Немало прошло с тех пор, как задумал я эту поэму. Вот уже лет двадцать коплю для нее по словечку... Хочется описать крестьянскую жизнь, о том, что я сам знаю о нашем народе и что привелось услышать из его уст. И друзья помогают. Вот недавно Александр Федорович Кони, человек удивительной душевной красоты, рассказал мне интереснейшие вещи, которые так и запросились в поэму. Пожалуй, я поделюсь с вами этим рассказом.

Как-то возвращался я с Александром Федоровичем в Петербург с пригородной дачи. Идем до поезда пешком. Беседуем. Спутник мой спрашивает: почему я не продолжаю писать поэму «Кому на Руси жить хорошо». Я объясняю, что не хватает материала, нужного для картин крепостного быта. «Могу помочь вам,— предложил Кони.— Вот случай, известный мне от достоверных людей». И он поведал такую историю. Однажды студентом он проводил лето в Рязанской губернии в усадьбе помещика — подготавливал его детей для поступления в гимназию. Свободного времени оставалось достаточно, и он из любопытства ходил в волостной суд, на сельские сходы, а то бродил по лесу с крестьянином-охотником, великим мастером «подвывать» волком.

Подружился он и со сторожем волостного правления Николаем Васильевичем. Это был высокий старик с шапкой седых волос и подслеповатыми глазами; человек бывалый — ездил в Москве извозчиком еще до того, как туда «приходил француз». Кони угощал старика папиросами, тогда тот становился более словоохотливым и подолгу вспоминал прошлое.

«А где ты живешь? — как-то спросил он Кони.— В господском доме?»

«Нет, в комнате при старой бане, там тихо, просторно и никто не мешает».

«В бане?! — изумился старик.— И тебе не боязно? Она-то по ночам не ходит? Не пугает тебя?»

«Кто — она?»

«Давно, в старые годы, помещица у нас была, лихая такая. Девкам дворовым от нее житья не было. На одну она особливо серчала. Косу ей обрезать велела — опозорила совсем, со свету сживала. Та возьми да и удавись с горя. Суд приехал. В бане ее потрошить стали... А к чему — неизвестно. Схоронили ее за оградой, потому что великий грех — руки на себя наложить. После нее, сироты, сундучок с вещами остался. Сундучок этот поставили на чердак в бане. Вот у нас на селе и бают, что бедняжка по ночам ходит сундук свой смотреть».



Выслушав это, Кони понял, почему слуга, когда вечером приходит с чаем или молоком, поставит принесенное на крылечко и сразу быстро удаляется восвояси. А днем заходит запросто и заводит долгие беседы.

Рассказал Кони и другую историю, услышанную им от того же старика.

Жил помещик, жестокий и разгульный человек. При нем был кучер Яков — сущий палач. Он исполнял все веления барина — истязал и порол крепостных на конюшне беспощадно. Силой он обладал необычайной; когда помещика разбил паралич, то кучер на руках носил и вынимал его из коляски, как ребенка.

Добрый и нежным Яков бывал только со своим единственным сыном, для него все готов был сделать. Но вот задумал сын его жениться, явился он со своей невестой к помещику, бухнулся перед ним на колени — просит разрешения на женитьбу. А тому самому девушка приглянулась. «Нет, говорит, моего согласия!» — и приказал отдать парня в солдаты вне очереди.

Впал Яков в отчаяние и стал думать, как бы барину отомстить. И вот однажды поехал он с ним, да в глухом месте в лесу вдруг свернул с пути. Остановил лошадей, отпряг, отогнал их кнутом, крикнул вослед: «Прощайте, любезные!», затем вожжи в руки взял и к барину подступил. «Что затеял? Пощади мою жизнь!» — взмолился барин. «Не бойся! — отвечает Яков. — Убивать тебя, сударь, не стану, греха на душу не возьму, а себя погублю». Закинул Яков вожжи на сук и на глазах помещика повесился.

— Страшный, ужасный рассказ. Не представляю, как только может он вдохновить поэта? — промолвила Наталия Петровна.

— Жизненной правдой! — отрезал Некрасов. — Пускай порой невеселой. Однако нельзя прятать правду жизни.

Не раз Некрасову задавали вопрос: «В чем секрет вашего чтения? Стихи просты, читаете вы без ухищрений, а внимание захватываете так, что ничто не может отвлечь». Поэт отвечал: «Простота — ключ к чужим сердцам».

Поэтический рассказ о верном холопе Якове захватил слушателей своей невыдуманностью и простотой.

Ясно, вдохновенно звучало каждое слово поэта, когда он читал песню Народного заступника Григория Добросклонова:

«В минуты унынья, о родина-мать!  
Я мыслью вперед улетаю.  
Еще суждено тебе много страдать,  
Но ты не погибнешь, я знаю.

Был гуще невежества мрак над тобой,  
Удушливей сон непробудный,  
Была ты глубоко несчастной страной,  
Подавленной, рабски-бессудной...

Довольно! Окончен с прошедшим расчет,  
Окончен расчет с господином!  
Сбирается с силами русский народ  
И учится быть гражданином...»

# ШКОЛА ЖИЗНИ



## ОН ИЩЕТ СЕБЯ

**Е**ще не забрезжил рассвет. Вспыхивают огоньки в окнах крестьянских изб: лучина — у бедняков, плашка или сальная свеча — у тех, кто в достатке.

В снежной завесе возникают фигурки детей. Идут втроем, вдвоем, поодиночке. Все охотно спешат на занятия. Видно, учителям не приходится зазывать их: «Эй, ребята, в школу!»

Особенность: никто не несет ни книг, ни тетрадей. Ведь ученикам не надо готовиться дома, не беспокоятся они и о том, что их будут придирчиво спрашивать на уроках, и в классах им ничего не придется затверживать наизусть.

Дети собираются в школу, уверенные, что нынче им будет так же интересно и весело, как и вчера. И они знают, что не получат выговора за опоздание, если случится задержаться, помогая родителям по дому.

Школа находится не в бедной деревенской избе, а в барском доме, классы в удобных светлых комнатах. В просторных сенях стоят гимнастические снаряды.

Не так давно весть о том, что граф Толстой открывает у себя в доме школу для крепостных детей, была похожа на сказку.

Седобородые старики, бабы-молодухи, безусые парни и даже совсем мелюзга — ребятишки в тот воскресный день — осенью 1859 года — долго толковали об удивительной новости:

— Учение бесплатное!..

Станным может показаться, что подобное происходило в крепостной деревне. Но картина эта нарисована самим создателем удивительной школы, а он человек, которого невозможно упрекнуть в бахвальстве.

Правда, кое-кто из деревенских опасался:

— Не обман ли какой? Может, граф хочет перед царем выхвалиться? Обучит ребят, потом в солдаты отдаст? И как раз угодят на войну под турку.

Судили-рядили:

— Что было, то видали, а что будет — повидаем... Пора нашим детям одолевать грамоту. Дьячок два целковых в месяц дерет, а еле азам обучает.

— Я своего Петьку обязательно в школу отдам! — первым решил рослый рыжебородый мужик.

— И я Тараску!.. А я Никишку!.. Я Данилку!.. — поддержали другие.

— Лишь бы граф не передумал... — усомнился рыжебородый.

— Нет, не бывало, чтобы он отступался, даром что молод, — сказал писарь из конторы управителя, известный грамотей и вестовщик. — Графа нашего и господу пытались корить: мол, не собирается ли, часом, барин стать жалким училишкой? Сообразно высокому званию пристало, дескать, только по военной части идти. А он отрезал: «В минувшую Крымскую кампанию европейцы одолели нас не храбростью, а оружием своей образованности».

Писарь говорил столь уверенно, будто сам слышал эти слова.

Порешили большинством: пускай ребята идут в школу, но только начинают не завтра, а то понедельник — день тяжелый.

Не забыть тот праздничный вторник!

Спозаранку дети гурьбой отправились в школу. Принаряженные, кто в старенькой, но чистой холщовой рубашонке, кто в непомерно длинной, с чужого плеча, поддевке, а кто в новых лапотках.

Две белые башенки словно сторожили ворота усадьбы. За ними «прошпект» — березовая аллея. Кленовая роща и плодовый сад плотным кольцом окружили тенистый парк, в котором укрылся барский дом.

Давным-давно неведомо кто назвал этот тихий уголок Ясной Поляной. Знатный екатерининский вельможа, генерал-аншеф князь Волконский, возвел здесь, в своей вотчине, высокие каменные хоромы с флигелями по бокам. А чтобы усадьба казалась еще величавее, построил у въезда башни с железными воротами.

Однако старому вельможе больше нечем было гордиться. Истощенная земля плохо родила хлеб. Крестьяне, разоренные нерадивыми управителями, нищали, имение разорялось. И к тому времени, когда оно вместе с остальным приданым жены перешло к графу Николаю Ильичу Толстому, было совсем захудалым.

Новый владелец хозяином оказался рачительным. Сыну своему, Льву Николаевичу графу Толстому, он оставил в наследство имение, уже приносившее доход. Но сын не пошел по стопам отца. Увлекся он иной деятельностью, вовсе не свойственной родовитому дворянину, — просвещением простого народа.

К тому времени он уже твердо стоял на литературном пути. В свет вышли его «Севастопольские рассказы», «Детство», «Отрочество», «Метель», «Два гусара».

Но вот о чем мечтал тогда и что говорил молодой писатель:

— Не нам следует учиться, а нам нужно Марфутку и Тараску выучить хоть немножко тому, что мы знаем.

На недоумение одной аристократической родственницы: «Зачем возиться с темными крестьянскими детьми?» — пояснил:

— Я хочу образования для народа, только чтобы спасти тонущих там Пушкиных, Ломоносовых... А они кишат в каждой школе.

Все более утверждаясь в своей мечте, Толстой затеял учредить в России «Общество народного образования». Когда кто-то сказал, что вряд ли правительство разрешит подобное общество, возразил резко:

— Народное образование — насущнейшая потребность русского народа. Будет или нет такое общество, я положу все, что могу, и все свои силы на исполнение программы устройства школ... Позволят или нет, а я хоть один, а буду составлять тайное общество народного образования.

Так горячо он верил в значение народного просвещения. Верил и действовал. И потому открыл в Ясной Поляне свою школу.

Первый день открытия школы и для него явился чрезвычайным событием. Если бы только знали оробевшие от страха ребятишки, жавшиеся друг к дружке на ступеньках крыльца, как в тот момент билось сердце и у самого владельца нарядного барского дома.

— Здравствуйте, дети! Собрались?

Он произнес эти простые слова так задушевно, что обидно по-солдатски прозвучало ответное:

— Так точно, васятельство!..

По лицу учителя пробежала тень. Но что поделать, перед ним были дети его крепостных, испокон веку не ведавших иного обращения к барину, кроме этого рабского «васятельство».

Дети с любопытством разглядывали графа, или, как говорили их отцы и они сами, «граха». Казался он выше своего среднего роста, наверно, оттого, что был ладного сложения и держался молодцевато, почти с военной выправкой. Неда-



ром считался лихим всадником, под которым конь берет барьер любой трудности.

И, несмотря на усы и черную «цыганскую» бороду, выглядел моложе своих тридцати лет. Только вот пытливый взгляд глубоко сидящих глаз принадлежал будто другому человеку — умудренному уже опытом долгой жизни. Острый, проникающий в душу взгляд!

— Как звать-то? — обратился он к мальчугану в латаной кацавейке:

— Данилка.

— А тебя?

— Гераська Фоканов.

— Тебя?

— Василь.

— А фамилию свою знаешь, Васька-кот? — пошутил учитель.

Глядя на его веселое лицо, все тоже заулыбались и потеряли всякий страх.

Переступив порог школы, ребята замерли в изумлении. Во всей деревне только в молотильном сарае был потолок такой высоты, а пол такой белый да чистый, будто вовсе это и не пол, а стол; на стенах висели картины в золотых рамах, похожие на иконы, с них глядели то ли мужчины, то ли женщины — все с белыми до плеч волосами.

— Святые? — На всякий случай Гераська и Василь перекрестились.

Граф рассмеялся:

— Это мои давние предки, тогда принято было парики носить.

Прошли в другую комнату, там тоже было светло и потолок высокий. Посередине стояли длинные столы и скамейки, на стене висели две черные доски, и на полочке под ними лежал мелок.

— Сегодня заниматься не будем. Я только напишу первые буквы азбуки. Приглядывайтесь, завтра начнем их учить.

Граф-учитель написал на черной доске мелом: «А Б В Г Д».

— Теперь давайте знакомиться ближе.

Он повел их в другую комнату, поменьше, зато в ней находилось то, чего ребята отроду не видели: шкафы, полные всяких книг, стол, заваленный исписанными бумагами.

— Вот тут я живу, — сказал учитель и опять так добро улыбнулся, что все тоже снова заулыбались и с самых робких начала спадать застенчивость.

— Козлов, сколько тебе лет?

— Двенадцать.

— А что ты делал летом?

— Я-то?

— Да.

— Пахал, скорбдил.

— Помогал отцу? Это хорошо! А ты что делал?

— Я-то? И я пахал.

— А ты?

— И я пахал, скорбдил, лошадей стерег.

Так учитель познакомился со всеми.

— В нашу школу пришло двадцать два ученика. Начало хорошее! — заключил он первую встречу.

На следующий день в школу явились все, как один.

Ребята расселись в классной комнате на скамейках, притихли. Никто не перешептывался, каждый думал про себя, что будет дальше, и все поглядывали на черные доски, на которых еще оставались нестертые буквы: «А Б В Г Д».

Вдруг в коридоре слышались частые шаги и звонко раздалось: «Абвгд...» Весело напевая, учитель вошел в класс:

— Здравствуйте!

— Здравия желаем, васятельство!

Но так ответили не все, а только те, которым родители запретили отвечать иначе: «Вдруг грах осерчает».

— Все пришли?

— Все!

— Отлично! Теперь повторяйте за мной...

Учитель взял указку и показал на буквы на доске:

— А... Б... В...

Сначала тихо, потом громче и громче ребята затянули

буквы нараспев. Понравилось. Распелись. Каждому захотелось, чтобы именно его голос был слышнее всех.

— Вот и прекрасно! — одобрил учитель и ткнул указкой в написанную на доске букву.— Кто знает, какая это буква, пусть подымет руку!

Никто не поднял руки. Все молчком смотрели на доску.

— А кто знает, чем таскают воду из колодца?

— Ведром! — откликнулся Игнатка.

— А какая в этом слове первая буква?

Ученики дружно ответили:

— Ве-э!

Так же начали твердить остальные буквы, а когда ученики забывали, то учитель называл какое-нибудь известное слово, например гриб, и все дружно отвечали: «Г», или рисовал дом, и сразу вспоминалась буква «Д».

Через короткое время школьники научились бойко читать. И трудно было определить, кто больше был этим доволен — ученики или их учитель.

Незаметно пролетела осень. Число желающих посещать школу удвоилось. Открылся и второй класс. Учителя своего ребята перестали уже величать «васятельство», а обращались по имени-отчеству.

Даже странным казалось, что еще совсем недавно «грах» был таким далеким, недоступным. Он стал простым, всем близким. После урока он зовет:

— За мной!

И начинается потеха! Шум, крик, беготня. Ну и затейник Лев Миколаич! Так зовут его ребята. Ничего не стоит ему выбежать на снег и дать команду:

— Валите меня! Небось не справитесь.

Спереди, сзади, с боков кидается на него ребятня, цепляются, вскарабкиваются на спину, стараются повалить.

Не тут-то было! Лев Николаевич стоит непоколебимо да еще возит на себе смельчаков, сумевших забраться на плечи. Силен он необычайно.

Наконец, не от усталости, а в шутку, он валится в сугроб. Восторг неопиcуемый! Ребята засыпают его снегом, наваливаются, кричат: «Мала куча, мала куча!» Лев Николаевич хохочет громче всех. Потом вскакивает, отряхивается, предлагает:

— Пойдем кататься с горы!

— Как, Лев Миколаич? Салазок-то нет.

— Найдем! — Он ведет свою ватагу к сараю. Указывает на большие сани.— Берите!

— Разве мы их доведем?

— Возьмем всем миром.

Он подымает оглобли, впрягается в середину, тянет, командует остальным:

— Разом взяли! Дружной! Разом!..

Ребята, как муравьи, облепляют сани, каждый тянет как может сильнее. Сани легко трогаются с места. Веселая компания волочит их на гору.

Гора крутая. Лев Николаевич связывает оглобли потуже, задирает повыше. Теперь можно мчаться с вершины.

— Мала куча!

Сани летят вихрем. На раскатах и ухабах ребята кубарем сваливаются в сугробы, барахтаются в снегу, еле выпрастываются наружу и, покрасневшие, довольные, бегут к своему неугомонному учителю — в глазах его смех и ласковость.

Приучает он и к занятиям физическими упражнениями.

В обширных сенях дома в потолке ввинчены кольца, на полу установлены брусья, турник, лежат двухпудовики, пудовики и гири поменьше.

Деревенский староста, приходя за распоряжениями по хозяйству, иногда застывает в полной растерянности при виде такой картины: зацепившись согнутой ногой за перекладину, барин висит головой вниз и раскачивается туда-сюда. Староста немеет от удивления, забывает, зачем и явился.

Самые ловкие школьники не рискуют соревноваться со своим учителем, и не только из-за его огромной силы, он еще и гимнаст на удивление превосходный. Как зачарованные

глядят ребята на Льва Николаевича. Вот он легко подскочил и ухватился за перекладину турника. Подтянулся сначала на одной, потом на другой руке... Видно, как напрягается каждый мускул на тренированном теле.

— Ну впрямь циркач наш Лев Миколаич! — восторгаются дети. Учитель их вертится колесом на турнике так быстро, что не различить лица, только мелькают разметавшиеся волосы. Затем он подвешивает к поясу тяжелую гирю и с ней подтягивается на перекладине. Однако и этого ему мало!

— Эй, Вася, цепляйся за меня! — предлагает он крепышу мальчугану.

Оказывается, и такой груз ему под силу!

— Считайте!

— Ра-ааз... два-аа... три-ии... — считают ребята, сколько подтянется и опустится гимнаст со своим добавочным грузом.

Как птица перескакивает он через высокого «козла». Увлекательно смотреть и как он борется. Постоянный его соперник, соседний помещик Бибииков, — тоже великий охотник до борьбы «на поясках».

Бибииков — толстый, кряжистый, с порядочным брюшком, ростом меньше, зато потяжелее Льва Николаевича. Оба они потуже затягиваются, схватывают друг друга за пояса и начинают тянуться. Борцы напрягают все свои силы, тяжело дышат, а все нет заметного перевеса.

Но вот Бибииков чуть приседает, поднатуживается и рывком приподнимает противника так, что его ноги отстают от пола.

— Держись, не поддавайся, Лев Миколаич! — подбадривают зрители.

Борцы кружатся на месте, дыхание с шумом вырывается из груди, на миг и Лев Николаевич сумел притянуть к себе и приподнять Бибиикова, однако победить — положить его на обе лопатки — не удается.

Борцы борются упорно, пока оба не слабеют и не опускают рук. Тогда они обнимают друг друга и смеются усталым, задышающимся смехом.

— Еще бы немного, и Лев Николаич одолел бы...— утверждают ребята; они убеждены в богатырской силе и непобедимости учителя.

Хитрый Лев Николаевич! Никогда ни к чему не принуждает, не заставляет делать силком, но всегда своего добивается. Вот так получилось и с гимнастикой. Поглядели ребята, какие ловкие штуки выделывает их учитель на кольцах и турнике, и стали ему подражать. И борцов в школе теперь хоть отбавляй. По примеру учителя каждому захотелось испытать свою силу «на поясках». Лев Николаевич лишь улыбается, когда в каждом углу то одна, то другая пара соревнуется, соблюдая все борцовские правила.

Сначала невдомек было, зачем Лев Николаевич позвал учеников не в лес, не в поле, а пройти по дороге, которая вела в город.

Зима была на исходе.

Солнце стало припекать, и на дороге местами показались проталины.

Ученики и учитель болтали о том о сем, что в голову придет, вдруг он остановился, сказал:

— Обозов прошло тут много, ишь сколько навоза из-под снега открылось. Деньги на дороге валяются.

— Нет ли здесь кладу,— пошутил один ученик.

— Да, это клад! Многих им накормить можно.

Тут уж все покатались со смеху.

А Лев Николаевич серьезно:

— Пятиалтынный буду платить тому, кто соберет воз.

В тот же день с метлами и лопатами школьники принялись очищать дорогу, собирать навоз. Когда набирали кучу, бежали в усадьбу, сообщали: «Возок готов!» Лев Николаевич тотчас посылал работника с лошастью вывезти собранное и платил обещанные деньги.

Весной Лев Николаевич обратился ко всему классу:

— Я дам вам десятину земли. Вы разделите ее поровну между собой, каждый будет сам пахать свою делянку, и кто



чего захочет, посеет и посадит на ней. У кого есть семена, пусть принесет свои, а у кого нет, я дам.

— Ну, а кому достанется урожай?

Лев Николаевич улыбнулся и ответил:

— Урожай будет у того, кто потрудится на своей делянке.

Вызвались восемь школьников; другие тоже хотели бы потрудиться на своей делянке, да были заняты работой дома.

Кто посеял горох, кто лен, кто гречиху, некоторые посадили морковь, репу.

— Что посеешь, то и пожнешь; что посадишь, то и выкопаешь. Все труды вознаграждаются сторицей, — говорил учитель, довольный старанием учеников.

Ступеньки террасы — любимое место для бесед во время досуга. Случается, эти беседы затягиваются допоздна, до самой глубокой ночи. О всякой всячине, бывальщине и небывальщине, говорят ребята, рассказывают о своем житье-бытье, о медведе, которого кто-то встретил в малиннике, всякие страсти о колдунах и колдуньях или о леших, что водятся в лесу.

— Никаких колдунов и чертей нет! — досадливо возражает Лев Николаевич. — Все это глупости! Невежественные люди говорили о них вашим бабушкам, они верили, теперь вам рассказывают, и вы верите. Кто из вас увидит живого колдуна, пусть приведет ко мне, я тому сто рублей дам.

«Бесстрашный наш Лев Миколаич!» — восхищаются ребята и решают во что бы то ни стало поймать где-нибудь колдуна, связать его и привести в Ясную Поляну.

Лев Николаевич рассказывает ребятам, как он воевал, чего насмотрелся на войне на Кавказе и в Крыму, сколько довелось видеть ему убитых и раненых, и как доктора отпиливают раненым ноги, и как отрезают им руки, и вытаскивают пробитый глаз... От таких жутких рассказов редко кто из слушателей не сжимался в комочек.

Однажды Лев Николаевич повел неожиданный разговор. Смеркалось. Длинные тени деревьев падали на цветник перед террасой дома. Приближался вечер.

Лев Николаевич обратился к своим юным собеседникам:

— Хотите послушать, что я надумал?

— Скажите, скажите, Лев Миколаич!

— Вот что я надумал. Хочу бросить хозяйство, барскую жизнь, перейти на крестьянство, выстроить себе хату на краю деревни. И работать, как ваши отцы, — косить, пахать.

— Простым станете батраком? — спросил шустрый Васька-кот.

— Нет, не батраком: работать буду на себя, для своего хозяйства, для семьи.

— Ну, коли так, пожитки куда свои денете? — раздалось сразу несколько голосов.

— Какие пожитки? Землю разверстаю, сделаю ее общей, будут хозяева ее равные.

Все молчали. Наконец Васька-кот вскочил со ступеньки, на которой сидел, обратился к учителю с серьезным лицом:

— А если люди будут смеяться: вот, мол, прогорели барин граф Толстов, обнищал, сам работает. Не стыдно ли будет?

Лев Николаевич так же серьезно поглядел на ученика и ответил, как взрослому:

— Как ты понимаешь стыд? Разве стыдно работать самому на себя? Разве отец твой говорил когда-нибудь, что ему работать стыдно? Нет, конечно! Неужели стыдно, если человек кормит своим трудом честным себя и свое семейство? Нисколько в том нет и смешного! Я думаю, не велик смех работать, а велик смех и грех, ежели я не работаю, но живу лучше других. Вот тогда мне стыдно! Пью, ем, катаюсь на лошадях, играю на рояле, но притом все как-то скучно: бездельник.

Разговор был для всех удивителен. На что Василий-кот был смышлен и говорлив, и тот приумолк, задумался. Да и все ребята смолкли, возникло недоверие к учителю, а ведь каждому слову его они привыкли верить безоговорочно.

Трудно было решить: говорит ли он сейчас правду иль шутит. Как, в самом деле, сделать из барина мужика, если не слышно даже, чтобы из простого люда выходили в баре. И чудно, невозможно представить графа в страдную пору в поле.

— Только так кажется, что в поле работать легко, а подика, ой-ой! — заметил Василий-кот.

Любимец учителя, он всегда потешал его своей непосредственностью, умением изображать все в лицах. И сейчас он привстал, сгорбился, положил руку на поясницу:

— Вот так отец мой, бывало, мучается после косьбы. Поясницу аж скрючит, растирается редечным соком.

Василий-кот отвлек и будто вернул Льва Николаевича издалека, из страны чудных дум. Словно пробуждая себя от сна, он ухватил в ладонь бороду, сжал ее крепко, дернул разок-другой и уже весело откликнулся:

— Редечный сок помогает?

— Потрешь — как живой!

Тут все оживились, стали вспоминать, что делает отец или дед, когда занемогут, что помогает при тех или иных недугах.

Сумерки давно уже сгустились до вечерней черноты, а учитель с компанией своих учеников еще долго не уходил со ступенек террасы.

## УЧИТЕЛЬ УЧИТСЯ

Школа разрасталась — учеников стало втрое больше. Слух о ней разнесся по всей губернии и докатился до самой столицы.

Лев Николаевич один уже не справлялся, ему потребовались учителя-помощники. Искал он их под свою мерку: знающих, добрых, веселых. По большей части находил он таких среди студентов, отстраненных «за политику» из университета.

Один молодой учитель, бывший воспитанник духовной

семинарии Петр Васильевич Морозов, особенно расположил к себе. Приехал он в Ясную Поляну с братом. У барского дома братья повстречали бородатого мужчину, одетого в простой овчинный полушубок и валенки. Приезжие обратились к нему:

— Где повидать графа?

— Я граф.

— Оно и видно... Небось у графа истопником служишь? — рассмеялись Морозовы, решив, что бородач шутит.

— А вы кто?

— Вот привез в школу «мучителя», — указал старший Морозов на брата.

Теперь рассмеялся бородач:

— Очень рад такому «мучителю», помощник мне давно нужен. Я — Толстой.

Так состоялось знакомство. Толстой тут же пригласил нового учителя пойти в школу. Уже на пороге в класс шум и гам привели Морозова в замешательство. «Какой ужасный беспорядок!» — подумал он и решил было незамедлительно отказаться от должности.

Ему, свежему человеку, все казалось невообразимо нелепым. Дети сидели за столами и попарно, и втроем, а то и впятером. Каждый делал что вздумается: читал, писал слова или цифры, рисовал или просто беседовал с соседом.

Завидя Толстого, все с радостным криком бросились навстречу и, по образному выражению Морозова, «облепили его, как рой пчел — куст». Шум и гам стали еще оглушительней.

В действительности то был не беспорядок, а система обучения и воспитания, система, над которой Лев Николаевич много и тщательно размышлял. Он считал, что школа не должна ничем утомлять — пусть ученики занимаются только с охотой, чувствуют себя не в казенной обстановке, а как дома, попросту.

Таков был порядок яснополянской школы, установленный ее создателем, стремившимся превратить школу в родную семью. Потому дети приходили и уходили отсюда, не спра-

шиваясь ни у кого, не стояли навтыжку, выбирали себе занятие без всякого принуждения, лишь по своей склонности.

Вскоре Морозов привык к этой системе и убедился, как благодатны ее плоды.

До прихода учителя школьники играли в снежки, упражнялись на гимнастических снарядах, а кто хотел, усаживался за книги в классе. Не стесненные рамками строгого расписания, ребята учились с раннего утра до позднего вечера. Случалось, что сторожу приходилось выгонять их из школы.

— Домой отправляйтесь, домой! Дайте графу отдохнуть от вас.

Засидевшись иногда до ночи, учителя шли провожать своих учеников в деревню. Приходилось слышать и ворчание недовольных матерей. Стучат учителя, к примеру, к Матрене, просят:

— Отопри!

— Эх вы, шатуны-полуночники!

— Возьми своих ребят, Матрена!

— Только балуете их да добрых людей тревожите!

Матрены ворчали «для порядка». На самом деле все матери были очень довольны, что их дети станут грамотными, учатся не то что у дьячка, из-под палки, а с превеликой охотой, да и от баловства отстают вовсе.

Толстой отдавал своему детищу — школе — все силы и внимание, оттого почти не покидал Ясной Поляны.

Велико было изумление школьников, когда однажды он сообщил:

— Уезжаю.

Посыпались вопросы:

— Надолго ли? Далеко ли? Зачем?

— В чужую землю, за границу... Долго ли там пробуду? Не знаю, сколько потребуется мне учиться.

То, что Лев Николаевич, который что ни спроси — все знает, собирается сам учиться, поразило особенно.

— Чему учиться?

Ответить на этот вопрос было труднее всего. Пожалуй,

и самому себе он не смог бы точно сказать, что именно собирается изучать, чтобы исполнить задуманное: слишком обширна намеченная программа и слишком велика задача, поставленная им перед жизнью.

И вряд ли стоило толковать ученикам, что он, учитель, не видит, как и чему их следует учить дальше. Ведь то, что годилось на первых порах, затем оказалось недостаточным.

Читать, писать, считать — даже эти начатки знаний не просто прививать неподготовленным крестьянским детям. А чему и по какой системе обучать их в дальнейшем?

Беда в том, что нет и учебников, хотя бы мало-мальски отвечающих требованиям яснополянской школы. Нельзя же заниматься так, как в церковноприходских школах, где целых три года тратят на то, чтобы ученики научились читать по складам, вызубрили наизусть псалтырь и переписывали прописи с их глупыми истинами, — это никуда не годится!

Ничего не остается, как самому взяться за составление новых учебников и разработку системы обучения. А для этого необходимо познакомиться с чужим опытом народного образования. Вот почему Лев Николаевич собрался за границу.

Была и другая серьезная причина столь дальнего путешествия. Николай — старший из братьев Толстых — давно уже болел туберкулезом легких и находился на излечении за границей, в Германии.

Лев Николаевич, желая быть ближе к брату, также решил поехать за границу.

Летом 1860 года Лев Николаевич вместе с сестрой и ее детьми в двух экипажах на почтовых лошадях выехали из Ясной Поляны.

В Москве Толстые пересели на поезд и по железной дороге приехали в Петербург. Оттуда на пароходе отправились в Штеттин и, не задерживаясь в этом городе, добрались до Берлина.

С первого дня пребывания в немецкой столице Лев Николаевич занялся делом, ради которого покинул родное гнездо. В прославленном Берлинском университете он слушает лек-



ции известных профессоров, но более всего заинтересовали его научные доклады в клубе ремесленников.

В клубе установился обычай: после лекций на научные темы вскрывать «вопросный ящик». Слушатели клали в этот ящик записки со своими вопросами. Специалисты по разным отраслям знания давали ответы, подробно останавливаясь на том, что представляло общий интерес. Занятия в клубе ремесленников проходили живо, и эта форма народного образования очень понравилась Толстому.

Пребывание в Берлине было содержательным и полезным.

Баварский курорт Киссинген привлек Толстого не лечебными, а своими учебными заведениями. Однако посещение их принесло русскому путешественнику горькое разочарование. Свое впечатление от посещения «школы малых детей» он отразил в дневнике кратко: «Ужасно. Молитва за короля, побои, все наизусть, испуганные, изуродованные дети».

Одновременно, чтобы пополнить теоретические познания, Толстой изучает историю педагогики. Он отмечает Френсиса Бэкона как «основателя материализма» и с чувством удовлетворения записывает в дневнике, что еще французский мыслитель конца XVI века Мишель де Монтень «...первый ясно выразил мысль о свободе воспитания». Значит, система яснополянской школы не химера, не прихоть, не наивная доморощенная теория: ее давно предложил выдающийся мыслитель!

А какова практика деревенских школ? Толстой побывал в деревне Гариц. Здесь он наблюдает занятия молодого учителя. Естественно было ожидать на его уроках новейших педагогических приемов. Нет! Наивность учителя была просто поразительна. Главным для него было, как учить детей писать: по двум линейкам или по одной?

Любознательный путешественник свел знакомство и с кружком политических деятелей. Один из них, австрийский революционер Юлиус Фребель, поселившийся в Германии, очень заинтересовал Толстого.

Русский граф тоже поразил старого революционера. Впоследствии Фребель рассказывал:

«Я обратил внимание на одного серьезного молодого человека, внимательно наблюдавшего все окружающее. Я иногда видел, что он читает английские книги. Я узнал, что это русский граф Лев Толстой и что он хочет со мной познакомиться. Нас кто-то свел вместе, и это знакомство оказалось для меня не только приятным, но и интересным. Его суждения о положении дел в России и в Германии были настолько замечательны, что я не мог их не записать. Прогресс в России, — говорил он мне, — должен исходить из народного образования, которое у нас даст лучшие результаты, чем в Германии, потому что русский народ еще не испорчен ложным воспитанием...»

Фребель выделил слова необыкновенного русского графа: «Если образование — благо, то потребность в нем должна являться сама собою, как голод».

И учитель-граф подтверждал свои слова: жадно вбирал знания, сближался с людьми, которые могли помочь разобраться в трудных вопросах.

В то же время он не забывает насущных нужд своей школы — приобретает в Киссингене книги по педагогике и выписывает через комиссионера некоторые педагогические издания из Америки.

И в Ясную Поляну летит запрос: «Сколько учеников ходят и хорошо ли учатся?»

Ответ приходит утешительный: «Школа идет своим порядком. Ученики и даже ученицы все собрались».

Между тем здоровье Николая Николаевича Толстого не становилось лучше. Врачи посоветовали ему выехать из Германии во Францию, где находился лучший для легочных больных курорт Гиер. Толстой едет с братом в Гиер.

Но приморский климат не помог: через две недели Николай Николаевич Толстой скончался.

Потеря была тяжкая. Лев Николаевич говорил: «Мало того, что это один из лучших людей, которых я встречал в жизни, что он был брат, что с ним связаны лучшие воспоминания моей жизни, — это был лучший мой друг».

Любовь, доходившая до обожания, была взаимной. С уxo-

дом из жизни старшего брата Лев Николаевич осиротел, как после потери родителей.

Перед ним встает вопрос о смысле жизни — зачем жить? В дневнике его появляется мучительная запись: «...Николенька умер. Страшно оторвало меня от жизни это событие. Опять вопрос: зачем? Уж недалеко до отправления туда. Куда? Никуда. Пытаюсь писать, принуждаю себя, и не идет только оттого, что не могу приписывать работе того значения, которое нужно приписывать для того, чтобы иметь силу и терпенье работать».

Но именно работа помогла найти исход. В память о том, кого считал лучшим из всех людей, Толстой еще сильнее отдается делу, которое, по его убеждению, важнее всего для человечества.

Швейцария, Италия, Франция — дальнейший маршрут Толстого.

Наибольшее впечатление оставляет Марсель. В этом большом французском городе он посещает народные школы. Его поражает, что ученики плохо знают арифметику, не умеют правильно писать и невежественны в истории своей страны. Например, на вопрос: «Что вы знаете о короле Генрихе Четвертом?» — ученик марсельской школы ответил: «Его убил Юлий Цезарь...»

Не лучше оказался и приют для малолетних, где четырехлетние дети, как солдаты, по свистку бегали вокруг скамеек, по команде поднимали и опускали руки, дрожащими головами пели хвалебные гимны своим благодетелям.

Но первые внешние впечатления не ввели в заблуждение. От пытливого взгляда Толстого не укрывается и другое. И о виденном в Марселе он пишет большую статью, в которой делает своеобразный вывод о том, что не казенные школы, а сама жизнь преподает свои умные уроки и прививает культуру марсельцам. Толстой пришел к такому выводу, общаясь с простым рабочим людом, бродя по городу, знакомясь с его музеями, библиотеками, книжными магазинами, редакциями, побывав в порту.

Повсюду, даже в маленьких кафе, которых здесь мно-

жество и где обычно разыгрываются комедийные сценки и читают стихи, даже тут, по мнению Толстого, люди невольно приобретают различные знания. Он называет это «бессознательной школой», более могучей, чем школа «принудительная» — официальная и лишённая смысла, ибо в ней царит механическая зубрежка.

Вот почему, пишет Толстой, «тот самый мальчик, который отвечал мне, что Генриха IV убил Юлий Цезарь, знал очень хорошо историю «Четырёх мушкетеров» и «Монте-Кристо».

Париж... И здесь русский граф посещает то одну, то другую городскую школу. В одной из них, с разрешения учителя, он сам даёт ученикам тему для сочинения и затем увозит их тетради с собой в Ясную Поляну.

Лев Николаевич старается все узнать, ничего не упустить, что может пригодиться ему для яснополянской школы. Он пишет на родину брату Сергею: «Моя главная цель в путешествии та, чтобы никто не смел мне в России указывать по педагогии на чужие края и чтобы быть au niveau [на уровне] всего, что сделано по этой части».

После Парижа — Лондон.

Толстой не только знакомится с преподаванием в английских школах, но и присутствует на уроках, задаёт ученикам вопросы, проверяет степень их подготовки.

И этого было мало неутомимому учителю, рьяно взявшемуся за пополнение своих знаний. Он изучает объёмистые доклады Комитета по делам образования, представленные парламенту, а также многочисленную английскую литературу по педагогике.

На многие книги он пишет свои отзывы или делает краткие критические замечания, вроде: «Тупоумная религиозность», «Образец бессмыслия...», «Нет связи, ни наука, ни забава», «Отличная книга, отвечающая на всякие вопросы детей».

Целый ящик отобранных лучших книг он отправляет в Россию для яснополянской библиотеки.

Знакомство с Герценом, жившим в Лондоне, оставляет

глубокий след в душе Толстого. И по прошествии многих лет Лев Николаевич живо вспоминал свою с ним встречу.

Кеб трясся по многим улицам и переулкам, пока не попал в район Челси. Зато тут не пришлось долго расспрашивать: «Где живет господин Герцен?» Русского эмигранта хорошо знали в округе.

Кебмен остановил лошадь у невзрачного дома и с сомнением посмотрел на своего пассажира: «Что надо франтовато одетому джентльмену в этой трущобе?»

Кебмен по-своему был прав: Толстой вполне походил на родовитого английского аристократа. И никто из деревенских знакомых не узнал бы его, еще сравнительно недавно ходившего в овчинном полушубке и валенках, а сейчас в нарядном шелковом цилиндре и в модном пальто.

Лев Николаевич попросил слугу, сидевшего у подъезда, подняться к Герцену и спросить разрешения его навестить.

— Как доложить?

— Проезжий соотечественник.

Слуга вернулся быстро, небрежно бросил ответ:

— Принять не могут.

— Нет дома?

— Осмелюсь сказать, сэр, слишком досаждают ему всякие посетители.

Лев Николаевич сначала нахмурился, потом улыбнулся: «Ну конечно, Герцен опасается темных личностей, которых ему подсылает царская полиция».

— Вот, отнесите! — Толстой протянул визитную карточку.

С одного взгляда на коронку, украшавшую карточку, слуга понял, что имеет дело с титулованной особой, и опрометью бросился исполнять поручение.

Через минуту сверху слышались быстрые шаги, и по лестнице, как мяч, слетел Герцен. Небольшой, полный, он, казалось, источал внутреннюю энергию.

— Лев Николаевич! Как я рад...

Герцен раскрыл дружеские объятия и заговорил так, будто они были давно и близко знакомы. И Толстой отдался

обаянию его личности, заметному во всем: в движениях, в манере говорить, в теплом взгляде лучистых глаз.

Видно, Герцен собрался куда-то идти, когда получил карточку дорогого ему гостя. На голове его была надета старенькая не то шляпа, не то плоская фуражка, имевшая особенно невзрачный вид рядом с шелковым цилиндром Толстого.

— Пойдем в ресторан, посидим, поговорим... — предложил он и, не дожидаясь согласия, повел Льва Николаевича под руку.

Они говорили о многом и разном, как говорят люди давно не видавшиеся.

Толстой заговорил о том, что начал писать роман о декабристах.

Герцен с интересом слушал писателя, о котором шла молва, будто после бурного успеха своих первых произведений он почему-то умолк, стал учительствовать. А вот, оказывается, приступил к новому роману.

— Хочу показать, что сила России не в нас, а в народе...

Толстой и Герцен внимательно приглядывались друг к другу, стремясь глубже постичь сущность того, что каждый из них нес передовому обществу, всему русскому народу.

Первая встреча не стала последней. Толстой не упускал возможности побывать в доме издателя «Колокола», доносившего на родину слова правды. Темы бесед их не исчерпывались. Герцен расспрашивал участника Крымской кампании об осаде Севастополя, о положении русского солдата, о порядках, царивших в армии, сражавшейся так героически.

Толстой охотно рассказывал о том, что видел сам или слышал от людей. Вскоре он стал своим человеком в радушном доме Герцена, и пятилетняя дочь хозяина называла его просто Левстой.

Настала пора возвращаться в Россию. На обратном пути на родину Лев Николаевич задержался в Германии, чтобы еще ближе познакомиться тут с народным образованием. В городе Веймаре он побывал в местной школе.

Он вошел в один из классов неожиданно для учителя.



— В министерстве мне разрешили присутствовать на вашем уроке, — пояснил он.

Вошедший так хорошо говорил по-немецки, что учитель счел его уроженцем Берлина. Вскоре, заговорив о методах преподавания, он поразил учителя и глубиной своих мыслей.

Посетитель внимательно следил за уроком и записывал свои наблюдения. Когда ученики начали писать изложение на заданную тему, он стал ходить между партами и заглядывать в тетради, проверять, как по-разному раскрывается тема.

— Очень интересно! — сказал он. — Я много думаю о том, как добиться, чтобы у учеников было свободное течение мыслей.

Немец с удивлением взглянул на гостя: ему самому никогда не приходило в голову, что это может быть важной педагогической задачей. Еще большее удивление вызвала просьба гостя:

— Могу я взять письменные работы учеников?

— С собой?

— Да!

— Зачем? Хотите проверить правописание?

— Нет! Мне кажется гораздо более важным узнать способности и склонности школьников.

Это было уж слишком. Мало того что гость интересуется недоступными вопросами педагогики, он еще собирается унести с собой тетради.

— За тетради уплачены деньги... — пролепетал практичный учитель. — Если вы их возьмете, придется покупать новые.

— Этому можно помочь... — улыбнулся гость и вышел из класса.

«Кто же такой этот непонятный посетитель? И что он затеял? Скандал! Совершенный скандал...» Бедняга учитель метался, ища объяснения происходящему. И приказал ученику:

— Фриц! Иди к господину директору и попроси его немедленно сюда.

Через минуту в класс явился встревоженный директор:

— Что случилось?

— Вы прислали мне какого-то чудака, он говорил о всяких мудреных вещах, а затем вздумал отнять у учеников их тетради.

— Я не присылал никого.

Теперь настала очередь и самому директору прийти в растерянность. И он стал ломать голову: кто же этот странный посетитель?

— Может быть, — наконец предположил директор, — это иностранец, который приходил в мое отсутствие вместе с чиновником из министерства просвещения? Чиновник просил принять иностранца и все ему показать...

Пока оба немца строили предположения, иностранец вернулся в класс. В руках он держал пачку бумаги.

— Вот купил в лавке... — пояснил он и стал раздавать ученикам листы.

Кто же он? Учитель решил пойти на дипломатическую хитрость.

— Директор нашей школы... — представил он.

— Граф Толстой из России, — отрекомендовался гость.

— Так вы, оказывается, граф, а не педагог? — вырвалось у учителя школы. — И вы, русский, так свободно владеете немецким языком...

Урок закончился, ученики набело переписали изложение и вручили Толстому свои тетради.

В школе еще долго вспоминали появление удивительного русского графа.

Франкфурт-на-Майне, Иена, Дрезден, Берлин... И в этих немецких городах Толстой изучает постановку школьного дела. Со строгим тщанием он отбирает то, что может принести пользу, отбрасывает и осуждает ненужное и вредное.

Дневник путешественника заполняется самыми различными записями. Знакомство с Ценкером — автором книги «О сущности образования, с особыми соображениями о воспитании и обучении» — оставляет у него отвратительное впечатление. «Ценкер, — пишет он в дневнике, — пьяная, грубая скотина, одобряющая палку». После осмотра сельско-

хозяйственной школы возле Иены записывает, что это «...глупейшая школа, доказывающая, до чего доводят учреждения сверху. Теория без практики». Но учительская семинария, наоборот, производит «прекрасное впечатление». Еще лучше отзывается Толстой о школе профессора Карла Стоя: «Самое интересное и, главное, единственное почти живое заведение из всех немецких школ».

Путешествие яснополянского графа-учителя подходило к концу. Много он повидал, узнал, почувствовал в передовых странах Европы. Зоркий, умный взгляд его подмечал и светлые и темные стороны дела, которому он отдавался с такой горячей душой. Однако свою копилку он обогатил не только педагогическими знаниями. Драгоценные плоды принесли и жизненные наблюдения.

В дневнике путешествия появляется запись: «Дорога́ не истина, а путь ее постижения».

Весной 1861 года Лев Николаевич вернулся в Ясную Поляну.

## РОЖДЕНИЕ КРАСОТЫ

Почти год он не был на родине. Накопилось множество неотложных дел. За что браться раньше?

«Прежде всего следует заняться земельным устройством крестьян, получивших волю», — решил Толстой. Своим бывшим крепостным он выделил землю, которой они привыкли пользоваться, притом каждая семья получила высший надел — три десятины на душу, хотя по закону помещик был вправе дать лишь одну десятину.

После освобождения крестьян значение школы возросло. Теперь следовало применить новые методы обучения.

Однако сразу возникло препятствие. Власти потребовали разрешения на открытие яснополянской школы. Но ведь она уже существует давно и, кроме пользы, ничего не приносит. Но спорить было напрасно.

То был первый тревожный сигнал.

Наконец хлопоты увенчались успехом. Графу Толстому разрешили вести занятия в его «приходской школе».

Вряд ли где-либо еще имелся подобный приходский учитель. И не только с таким высоким титулом. Главное, столь подготовленный, образованный, так страстно любящий свое дело.

«Есть и у меня поэтическое, прелестное дело, от которого нельзя оторваться — это школа, — писал Лев Николаевич в августе 1861 года, — ...но так как она переделывается, то классы рядом в саду под яблонями, куда можно пройти только нагнувшись, так все заросло. И там сидит учитель, а кругом школьники, покусывая травки и пощелкивая в липовые и кленовые листья. Учитель учит по моим советам, но все-таки не совсем хорошо, что и дети чувствуют. Они меня больше любят. И мы начинаем беседовать часа три-четыре, и никому не скучно».

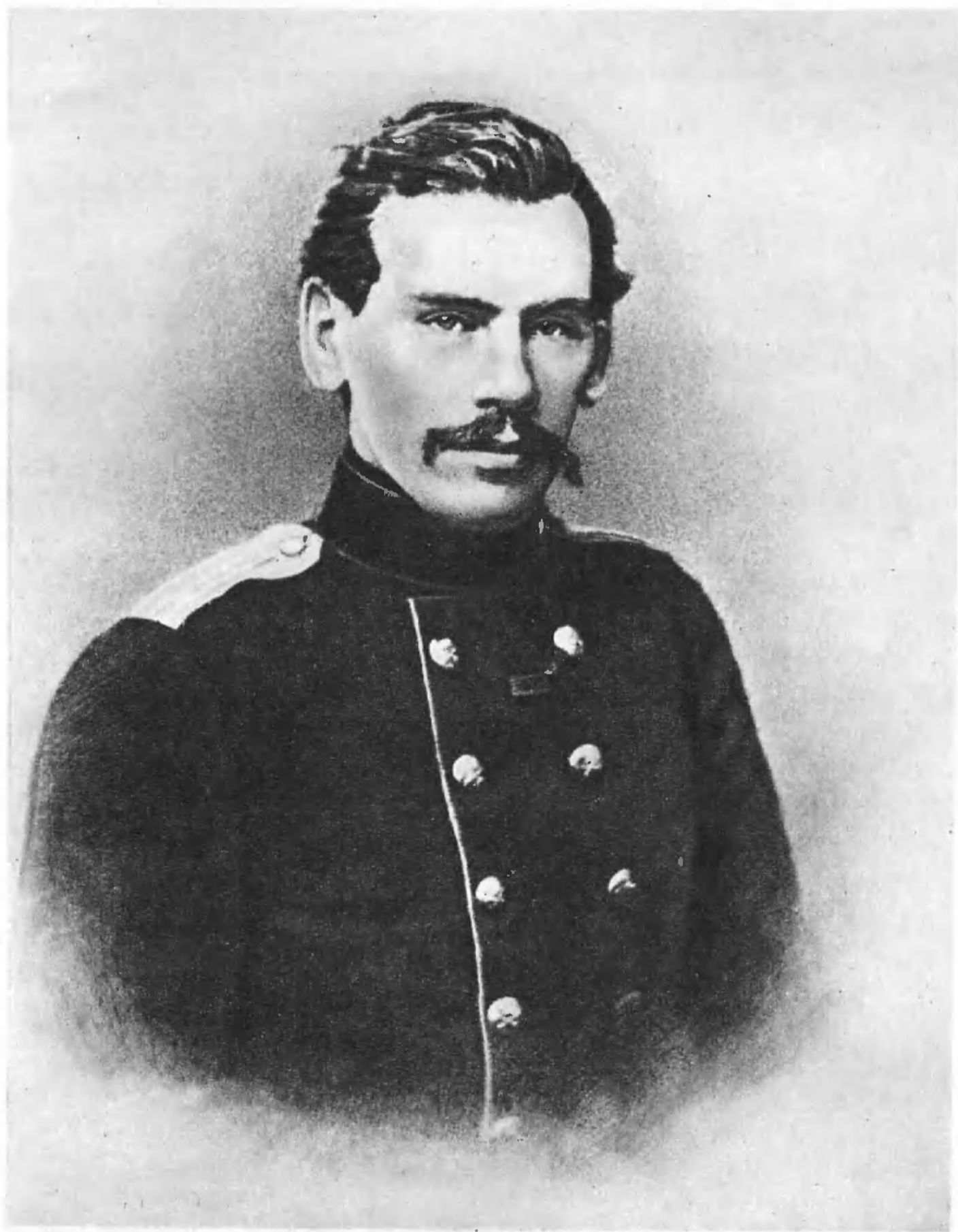
Восторженно описывает «приходский» учитель своих учеников: «Нельзя рассказать, что это за дети — надо их видеть. Из нашего милого сословия детей я ничего подобного не видал. Подумайте только, что в [продолжение] двух лет, при совершенном отсутствии дисциплины ни один и ни одна не была наказана. Никогда лени, грубости, глупой шутки, неприличного слова».

В яснополянской школе по-прежнему царил внешний беспорядок, или «свободный порядок», как называл это Толстой. Так или иначе, ученики оправдывали его надежды — все учились с охотой.

Школа обогатилась многими пособиями — приборами для физических опытов, коллекциями минералов, растений, насекомых. Некоторые ученики стали настолько знающими, что крестьяне их звали для землемерных работ.

По возвращении из-за границы Лев Николаевич ввел в школе новые предметы — рисование и пение, даже сам пел со школьниками. Старинный романс «Ключ» особенно им понравился, и они часто его распевали вместе.

Лев Николаевич установил с детьми отношения, основанные на полной свободе, простоте и доверии. То, что он с



Лев Николаевич Толстой.  
Фотография 1856 года.



Крымская война. Морской бой.  
*Рисунок А. Боголюбова. 1854 год.*



Батарея на Малаховом кургане.  
*Рисунок В. Тимма. 1855 год.*

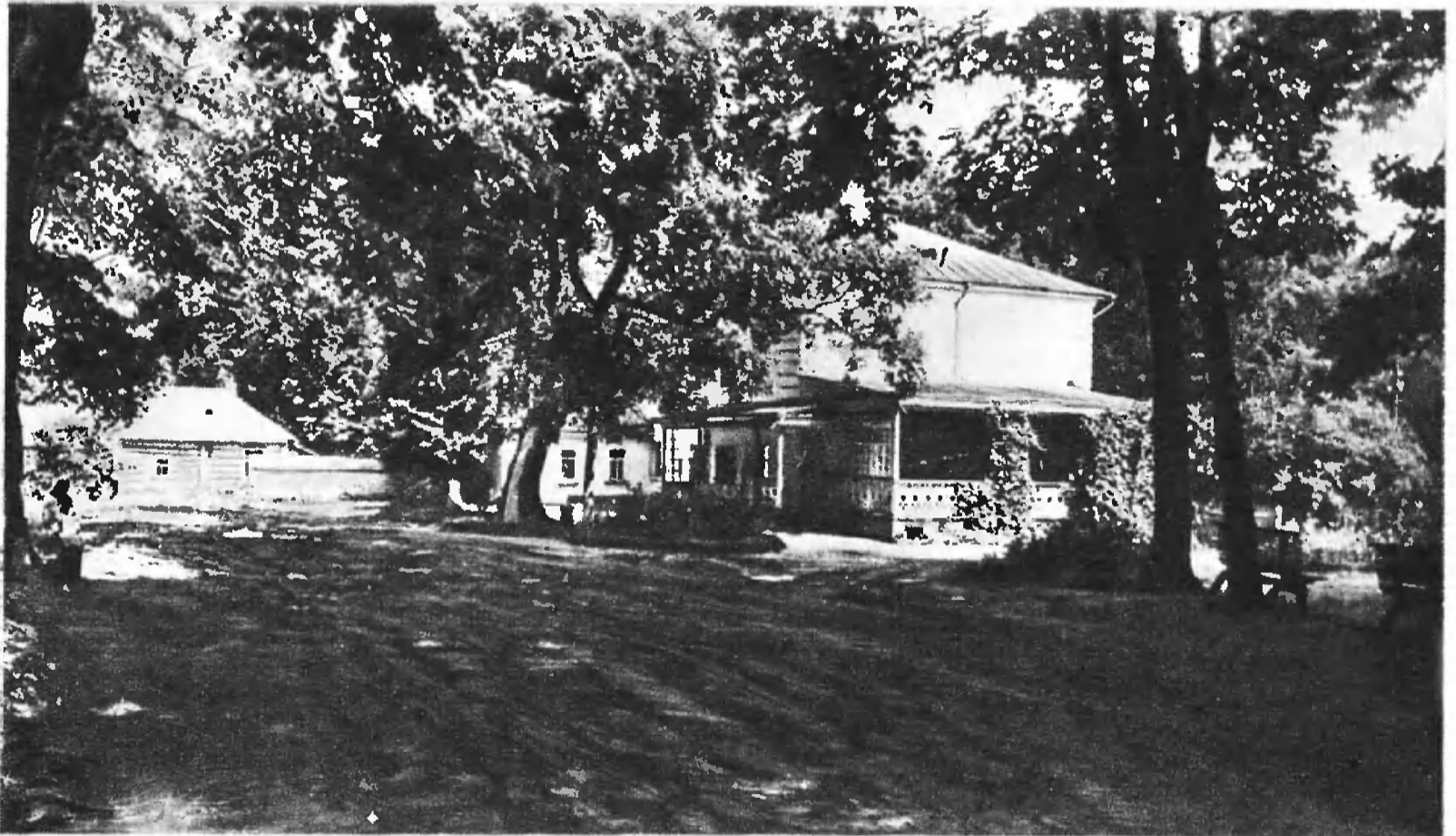




Защитники Севастополя.  
 Литографія В. Тимма. 1855 год.



Въезд в Ясную Поляну.



Ясная Поляна. Дом Толстых.



Усадьба «Ясная Поляна» со стороны деревни.



Ясная Поляна. Деревня.

# А З Б У К А

ГРАФА Л. Н. ТОЛСТАГО

---

К Н И Г А I.

---

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Тип. Замысловскаго, Больш. Мѣщан., д. № 33.

1872.

Обложка «Азбуки», составленной Л. Н. Толстым  
для яснополянской школы.



№ 27.



Л. Н. ТОЛСТОЙ.

**ДЕРЕВЕНСКАЯ ЖИЗНЬ  
НА КАЖДЫЙ МЪСЯЦЪ.**



Обложка книги Л. Н. Толстого «Деревенская жизнь на каждый месяц».





Кабинет Л. Н. Толстого в Ясной Поляне.



Гостиная в доме Толстых.



Любимая скамья Л. Н. Толстого в яснополянском парке.



Наташа Ростова у окна.  
*Иллюстрация А. В. Николаева. 1960 год.*



Пьер Безухов.  
*Иллюстрация М. Башилова.*



Бал в доме Ростовых.  
*Иллюстрация Д. Кардовского. 1909 год.*





Бородинская битва.  
Гравюра С. Федорова по рисунку Д. Скотти.

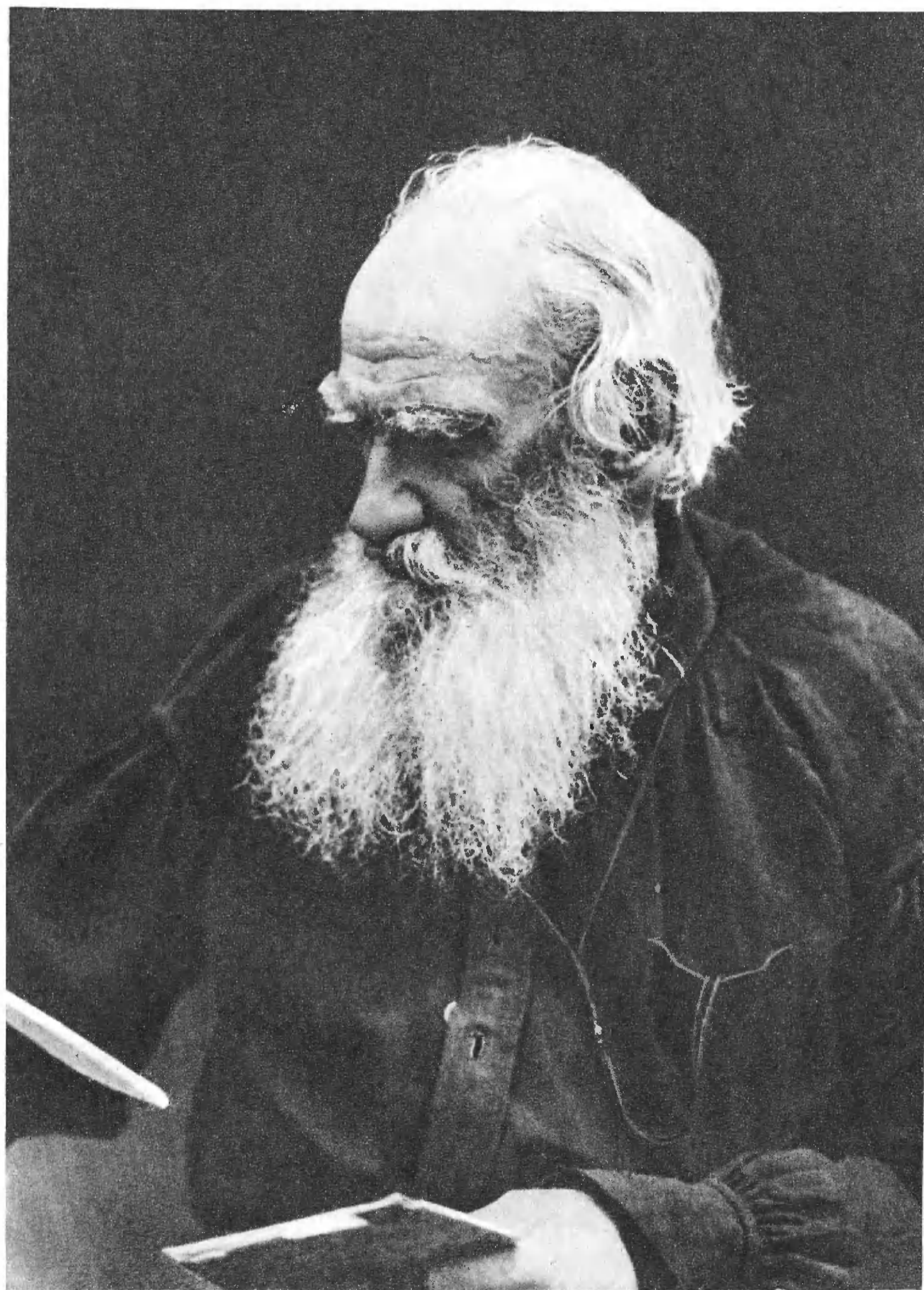


Отступление французов.  
Литография работы неизвестного художника.



Первое знакомство Наташи с Андреем Болконским.  
*Иллюстрация Л. О. Пастернака. 1893 год.*





Лев Николаевич Толстой.  
Фотография 1910 года.



Могила Л. Н. Толстого в Ясной Поляне.

ними делал гимнастику, ходил купаться, гулял по лесу, играл в разные игры, рассказывал сказки и интересные случаи из жизни, — все это делало его своим, близким, родным.

Так между школьниками и учителем сложились своеобразные, полные поэзии отношения. Яснополянский учитель описал их в очерках, посвященных повседневной жизни его школы. Вот некоторые характерные штрихи из этого картинного описания.

Уроки давно окончились, но школьники не расходятся. Кто столярничает, кто устроился у растопленной печки и слушает чтение вслух сказочного «Вия» Гоголя, а кто любит тем, как удивительно бегают железные булавки по листу бумаги, под которым водят магнитом.

Вошел сторож с вязанкой дров, подбросил сосновые поленья в печь.

Смолистые поленья вмиг вспыхнули, затрещали, дыхнули жарким пламенем.

— Пойдем в лес! — вдруг предложил Семка, двенадцатилетний малец, здоровый, веселый, сильный, получивший за это кличку «Вавила», будто силачи обязательно должны так прозываться.

— Пойдем, Лев Миколаич! — поддержал Федька, мальчуган лет десяти, нежная и в то же время лихая натура.

Опасность, кажется, доставляла ему особенное удовольствие. Страшно было летом смотреть, как он выплывал на середину пруда, вдруг нырял в глубину, долго не появлялся, всплывал, перевертывался на спине, пуская струйки воды и окликавая тонким голоском товарищей на берегу, чтобы заметили, какой он удалец.

Он знал, что в «заказе» — глухом лесу — водятся волки, и тоже захотел туда.

Пронька молчал, но смотрел добрыми, молящими глазами. Болезненный, на редкость кроткий, он всегда был полуголодный: очень уж из бедной семьи.

Ну разве можно отказать такой компании!

Пошли.

Огни деревни быстро исчезли. Тропинка еле виднелась.



Возле леса стало совсем темно. Еще не добравшись до середины леса, ребята оробели.

— Стой! Что такое? — вскрикнул Семка.

Ничего не было слышно, но страху прибавилось.

— Ну что мы станем делать, как волк выскочит — да за нами? — спросил Федька.

Чтобы отвлечь и успокоить ребят, Лев Николаевич заговорил о казаках, абреках, о Хаджи-Мурате.

Семка спокойнее пошел вперед, широко ступая большими сапогами, мерно покачивая широкой спиной. Пронька попытался идти рядом с учителем, но Федька тоже захотел быть рядом и сбил соперника с узкой дорожки. По своей бедности Пронька привык покоряться и сейчас стал забегать сбоку, хотя по колено утопал в снегу. Федька вдруг нежно коснулся рукава Льва Николаевича, затем ухватил и не выпускал его два пальца.

— Ну, как же Хаджи-Мурат? Ускакал? — Федька упоенно слушал рассказ, страшные подробности увлекали его до ожесточения, ничто и никто не должен был посметь нарушить его состояния. И он то расспрашивал: «А дальше как?», то тут же огрызался на спотыкавшегося Проньку: «Ну, ты, не суйся под ноги!»

Шли, не замечая рыхлой, плохо наезженной дороги. Тучи плыли совсем низко, снег валил тяжелыми хлопьями. Белизна его сливалась с чернотой леса, и эта странная белая темь как будто качалась перед глазами. Ветер гулял по голым вершинам осин, но внизу у земли было совсем тихо.

Про волков забыли. Теперь думали только о захваченном в плен абреке — как он запел предсмертную песню и сам бросился на кинжал. Это пострашнее волков!

— Зачем же он песню запел, когда его окружили? — раздумчиво спросил Семка.

— Ведь тебе сказывали — умирать собрался! — огорченно пояснил Федька.

— Я думаю, что он молитву запел... — добавил Пронька. Все согласились. Федька вдруг остановился. Ему как будто не доставало страхов, и он спросил:

— А как, вы говорили, вашу тетку зарезали?

— Расскажи, Лев Николаич! Расскажи! — запросили другие.

Лев Николаевич повторил уже не раз рассказанную страшную историю убийста графини Толстой. Ребята молча окружили его, заглядывая ему в лицо.

— Попался разбойник! — произнес Семка.

— Поди, ужасно одному было ночью идти, когда она зарезанная лежала... Я бы на его месте убежал поскорее... — Федька еще крепче ухватился за пальцы Льва Николаевича.

Наконец дошли до роши. Семка поднял хворостину и стал бить ею по морозному стволу липы. Иней посыпался с сучьев на шапку, и глухой звук одиноко раздался по лесу.

Федька обратился вдруг с неожиданным вопросом: не о графине, а совсем о другом:

— Лев Николаич, зачем пению учиться? Я все думаю — для чего петь?

Как он перескочил от ужаса убийства на этот вопрос, кто его знает, но по всему: по звуку голоса, по серьезности, с которой он добивался ответа, по молчаливому интересу остальных ребят — Лев Николаевич ощутил какую-то связь этого вопроса с предыдущим разговором.

У Федьки был чудесный голос и музыкальный талант, это будило в нем неясные чувства, и теперь в растревоженной сокровенной душе его поднялись вопросы, требующие решения.

— А зачем петь, рисовать и зачем красиво писать?... — повторил Федька. Его волновало именно это — зачем надо искусство?

— Нарисуешь и всякую вещь по рисунку сделаешь, — объяснил Семка.

— Нет, это черчение! — возразил Федька. — Ты лучше скажи, для чего фигуры рисовать?

Семка не затруднился:

— Зачем палка, зачем липа? — Он постучал по стволу липы и сам ответил: — Из липы можно стропила сделать.

— А зачем липа, пока она не срублена? — упорно допытывался Федька. — Для чего она растет?

Так разговор зашел о том, что есть польза, а что есть красота, и о том, что искусство есть красота. Лев Николаевич постепенно вел к этой мысли. Наконец Федька, довольный, вымолвил:

— Понял я, зачем липа растет и зачем петух. Красота в искусстве...

Семка настаивал, что красота не может быть без пользы. А Пронька тихо промолвил, что самое красивое — это доставлять людям добро.

Так они шли, споря и соглашаясь, пока огни деревни не показались сразу за лесом.

В эту ночь они стали близки друг другу, как никогда раньше. А Федька, так тот уже не выпускал из своей руки пальцев учителя, но теперь не от страха, а от благодарности.

Семка остановился, глянул в сторону своей кривой, черной избы.

— Пра-а-а-щайте, Лев Миколаич! — крикнул он и, будто с усилием оторвавшись, рысцой побежал и скрылся в белой мгле.

Остальные пошли дальше. В крошечной избе Проньки светился огонь. В окно было видно, как мать Проньки чистила картошку у печки, как его брат жевал ломоть черного хлеба, макая его в соль, вываленную прямо на голые доски стола. Посредине избы висела люлька.

— Пропasti на тебя нет! Где был? — закричала мать, едва Пронька переступил порог.

Мальчик кротко, болезненно улыбнулся и глазами показал на окно. Мать догадалась, что он был не один, наверно с графом, и тотчас переменяла сердитое выражение на притворно ласковое.

С Львом Николаевичем остался один Федька.

— И у нас еще свет... — сказал мальчик голосом, смягченным настроением минувшего вечера. — Прощай, Лев Миколаич, — добавил он тихо и принялся стучать в запертую дверь.



Не отворяли.

— Отоприте... — звучал тонкий голосок в тишине зимней деревни.

Лев Николаевич заглянул в окно. Изба была просторная. За большим столом сидел хозяин и играл в карты с рыжебородым мужиком, который, держа согнутые карты, торжественно смотрел на Федькиного отца, а тот в нерешительности то заносил, то опускал руку с засаленной картой. Толстая баба, мачеха Федьки, свесившись с полатей, жадно уставилась на столбик медных монет на столе.

— Отоприте...

Никто не думал открывать ему. Наконец мачехе, видно, надоел стук, и она двинулась к двери.

— Прощайте... — тихо вымолвил Федька. — Всегда давайте так ходить.

Лев Николаевич ничего не ответил, только кивнул и задумчиво зашагал к усадьбе.

Как хорошо, что в простых крестьянских детях пробудился интерес к искусству, красоте. Но как не соответствовало это невежеству не побежденного еще крепостного быта!..

Как-то Лев Николаевич, войдя в класс, объявил новость:

— Завтра из Тулы к нам приедут гимназисты. Будем соревноваться: кто лучше учится — мы или они?

— С барчатами спорить? Ишь, что затеяли! Боязно.

Ребята оробели, как в первый раз, когда поступали в школу. Все же решили получше подготовиться к встрече. Целый день вспоминали всякие упражнения, задавали один другому вопросы покаверзней.

Назавтра все явились смущенные, расселись потупившись. Гимназисты приехали тоже настороженные. Обе стороны поглядывали стыдливо и со страхком.

— Приступим! — торжественно предложил учитель гимназии.

— Приступим... — улыбнулся в бороду Лев Николаевич.

Гимназисты и школьники получили задачу на четыре действия арифметики. Противники тотчас притихли, сосредоточились.

Романцев и Козлов первые подошли к Льву Николаевичу:

— Так ли мы решили? — Они положили свои тетради на стол.

— Посмотрю.— Лев Николаевич взял тетради, принялся внимательно проверять.— И я так думаю, что должно получиться именно девятьсот сорок три и одна вторая...— сказал он, довольный. Затем обратился к учителю гимназии: — Мы решили, у нас получилось требуемое число.

— Сейчас и мы кончаем.— Учитель подошел к классной доске, на которой лучший гимназист решал задачу.

Лев Николаевич тоже подошел к исписанной доске. Проверил цифры и любезно обратился к учителю гимназии:

— Так, так, прекрасно! Вот только тут ошибка в делении, а то все шло бы отлично...

— Вы правы! — подтвердил учитель и досадливо оглянулся на своих учеников.

По остальным предметам яснополянские школьники тоже не уступали гимназистам. Но странно: каждая их победа все более разрушала преграду между соперниками. Расстались они уже как равные, по-товарищески, согласившись и впредь устраивать такие встречи-соревнования.

Победа окрылила и Льва Николаевича. На одном из занятий он предложил школьникам:

— Давайте что-нибудь напишем, выдумаем.

— А что писать? Что выдумывать? — Ребята наострили уши: скучного Лев Николаевич не предложит.

— Возьмем пословицу — вот и тема.

— А какую пословицу?

— Наугад, что в книге откроется.

Раскрыли сборник пословиц, на первой попавшейся странице прочли: «Ложкой кормит, стеблем глаз колет».

— Как это понимать?

— Вообразим, что богатый мужик взял к себе нищего, а потом за свое добро стал его попрекать.

— Вы сами напишите! — сказал кто-то из ребят.

— Нет, давайте вместе писать, и я с вами.

«Надо показать пример», — решил Толстой и написал страничку. Однако тут же стал мысленно корить себя: написанное показалось ему искусственным, надуманным. Даже стало досадно и совестно перед ребятами.

А они как ни в чем не бывало писали. С увлечением. С интересом. Некоторые рассуждали вслух. Один сказал, что у него нищий — колдун, у другого — отставной солдат, у третьего — нищий обворовал своего благодетеля, но остальные сказали, что тогда не получится по пословице.

Сочинительством занялось большинство, однако из всех выделились Семка и Федька. Первый — яркостью описаний, второй — пылкостью воображения.

Лев Николаевич поразились их требовательности к художественной правде. Ему, например, казалось, что мужик, взявший в дом нищего, потом сам раскается в своем добром поступке. Ребята сочли это невозможным и создали еще образ сварливой бабы.

— Мужик у сначала было жаль нищего, а затем хлеба стало жалко, — предложил Толстой.

— Нет! — возразил Федька. — Это нескладно. Ежели мужик сразу своей сварливой бабы не послушал, то и после он не покорится.

— Какой же он, по-твоему, человек?

— Он как дядя Тимофей. Бородка у него реденькая... в церковь ходит молиться... и пчелы у него есть.

— Добрый, но упрямый?

— Да! И уж не станет бабы слушать.

Ребята ощутили радость творчества.

Семка отличился сочинительством метких подробностей. Он будто видел перед глазами нищего старика: его замерзлые лапти и грязь, которая стекала с них, когда они оттаяли, и угольки, в которые они превратились, когда баба бросила их в печку.

Федька описывал другие подробности: снег забился старику за онучи, и это вызвало жалость мужика. Мужик воскликнул: «Господи, как-то он шел, бедняга!» Федька даже в лицах представил, как это произнес мужик, взмахнувши

руками и покачавши головой. Он писал, что у старика была шинелишка из лоскутьев, рубашка порвана, и из-под нее виднелось худое, мокрое от растаявшего снега тело; он придумал, что баба ворчливо, по приказанию мужа, сняла лапти с ног старика, и тот жалобно застонал и сквозь зубы прошептал: «Тише, матушка, у меня тут раны».

Федька чутко понял значение слова в литературном произведении. И важнейшее свойство всякого искусства — чувство меры оказалось развитым в нем чрезвычайно. Когда один из ребят предложил вместо: «У меня тут раны», написать: «У меня раны на ногах», он ни за что не соглашался изменить фразу. Далеко не всякий, подобно ему, умел сразу догадаться, почему следует сказать именно так, а не иначе и что только это слово верно и точно, а если заменить его другим, то все зазвучит хуже. Просто не верилось, что школяр Федька обладает таким тонким художественным чутьем.

Школьники писали допоздна. Забыв голод и усталость, они сочиняли рассказ.

Толстой смотрел на своих юнцов, и сложные чувства переполняли его. Вот наконец исполнилось то, о чем он мечтал, то, чего он так долго и настойчиво добивался — ученики его овладели бесценным богатством искусства. Он испытывал одновременно радость, страх и почти раскаяние в том, что перед этими ребятами, живущими в нищете и убогости, приоткрылся мир красоты. Что, если эта манящая красота вызовет в них новые желания, не соответствующие тому миру, в котором им приходится жить?

## АЗБУКА ЖИЗНИ

Катастрофа разразилась внезапно.

Впрочем, как все события подобного рода, назревала она исподволь, и развитие ее можно проследить.

Первые грозные признаки появились еще тогда, когда граф-учитель стал также мировым посредником. Эта общественная должность была учреждена после отмены крепостно-

го права для улаживания тяжб, возникавших между помещиками и крестьянами при разделе земли.

Мировой посредник граф Толстой твердо и неизменно защищал права крестьян от помещиков, стремившихся как только можно обделывать своих бывших рабов. Последовательно исполняя клятву бороться за народное образование, он добивается и открытия сельских школ. За короткое время ему удается создать свыше двух десятков таких школ. Большое событие в деревенской глуши!

Среди дворян действия мирового посредника вызвали целую бурю. Однако недовольство их не смущает Толстого, и он не отступает от своих взглядов. А словесные нападки на него уже превращаются в угрожающие действия.

Уездный предводитель дворянства обращается к тульскому губернатору с жалобой, скорее похожей на донос: «...граф Лев Николаевич Толстой не только не переменил образа действий своих, но приглашением студентов Московского университета после бывших в оном беспорядков к занятию должности волостных писарей и учителей совершенно восстановил против себя всех дворян Крапивенского уезда, которые... просят моего ходатайства об увольнении графа Толстого от должности мирового посредника».

Предводитель дворянства хитроумно предупреждает губернатора: «Считаю излишним говорить, какие последствия могли бы произойти от определения в должности писарей и учителей студентов, людей молодых, неопытных, поставленных в беспрестанные сношения с народом, и цель графа Толстого при таком приглашении столь очевидна, что я вынужден покорнейше просить Ваше превосходительство немедленно или предложить графу Толстому отказаться от должности мирового посредника или об увольнении его представить, куда следует, потому что пока граф Толстой оставаться будет мировым посредником, я не только не надеюсь, чтобы помещики Крапивенского уезда подали к сроку уставные грамоты, но прямо заявляю Вашему превосходительству опасения свои в отношении спокойствия крестьян в Крапивенском уезде».

Изысканный донос заканчивается просьбой: «...прошу Ваше превосходительство о последующем распоряжении Вашем почтить меня уведомлением, дабы я благовременно мог принять меры к охранению в уезде желаемого спокойствия».

Итак, в уезде появился опасный злоумышленник, против которого приходится «благовременно» принимать меры охраны.

Теперь Лев Николаевич стал получать письма с прямыми угрозами вплоть до угрозы застрелить на дуэли. К тому же начальство принялось отменять решения мирового посредника, чем его деятельность вовсе парализовалась.

Ничего не оставалось, как подать в отставку.

Враги возликовали!

Становой пристав в подпитии глумился: «...Вот свидетель, господа, что я еще несколько месяцев назад предсказывал: двинут тебя! Ха-ха-ха!.. И вот его двинули, прогнали тебя, мировой посредник, учитель!.. Граф!.. Еще лучше будет, подожди немного, тебя и из учителей прогонят!»

Разумеется, пристав так расхрабрился, зная, что за Толстым установлено тайное полицейское наблюдение. В начале 1862 года Третье отделение в Петербурге получило донесение жандармского полковника: «В Тульской губернии проживает в собственном имении «Ясная Поляна» отставной артиллерийский офицер Толстой, очень умный человек, воспитывался кажется в Московском университете и весьма замечателен своим либеральным направлением; в настоящее время он очень усердно занимается распространением грамотности между крестьянами, для сего устроил в имении своем школы и пригласил к себе в преподаватели тоже студентов и особливо тех, которые подверглись каким-либо случайностям, оставили Университет, и как слышно у Толстого находятся уже 10 человек, которым он дает хорошее жалование и готовое содержание, в числе таковых оказался здешний студент Алексей Соколов, состоящий под надзором за участие в издании и распространении разных запрещенных антирелигиозных сочинений».

О подозрительном поведении отставного артиллерийско-



го офицера Третье отделение доложило царю. Над «возмутителем спокойствия» установили особый надзор — в Ясную Поляну прислали специального шпика.

Однако шпик оказался беспробудным пьяницей и беспардонным лгуном. Обязанности свои он выполнял скверно и, чтобы выпутаться из положения, начал строчить сообщения, полные вымысла, но вызвавшие великий переполох. Заварилась казенная переписка, в которую втягивалось все большее число должностных лиц: шеф жандармов в столице, московский и тульский губернаторы и подчиненная им многочисленная мелкая полицейская сошка.

Все исполнялось «совершенно секретно», «весьма секретно» и просто «секретно». Толстой не ведал о возне, затеянной вокруг его имени. Однако тяжелая борьба, которую пришлось ему вести с произволом властей, сильно его изнурила. И весной 1862 года он выехал для лечения кумысом в башкирские степи.

В его отсутствие свершился свирепый жандармский налет на Ясную Поляну.

Царь одобрил предложение шефа жандармов обыскать усадьбу подозреваемого графа. Из Петербурга прислали жандармского полковника Дурново. Полковник прибыл к тульскому вице-губернатору, который прикомандировал к нему местного пристава. В уезде они прихватили с собой полицейского исправника. В волости к ним присоединился становой пристав. Все вместе взяли еще сотских и понятых.

Со звоном, гамом к дому Льва Николаевича подкатили почтовые тройки, дроги, подводы, подскакали всадники на лошадях. Грозно гремя шашками, саблями, шпорами, стуча коваными каблуками тяжелых сапог, жандармы и полицейские устремились в школу и в жилые комнаты Льва Николаевича.

Начался обыск.

Все было раскрыто, разрыто, вывернуто — шкафы, столы, комоды, сундуки, шкатулки; книги, тетради — каждый исписанный листок бумаги был просмотрен, выверен, ощупан.

Школа заслужила особенное внимание полицейских. Тут

все перевернули вверх дном. Даже ученические тетради с каракулями детей, осваивавших начатки грамоты, и те вызвали подозрительность. В одном из классов полицейский офицер заметил на полке ящичек и учинил строгий допрос:

— Что такое?!

— Фотографический аппарат,— объяснил учитель.

— Аппарат? Фотографический?..

— Как видите.

— Кого снимаете?

Студент-учитель был настроен шутливо и решил чуть поиздеваться.

— Герцена...— ответил он, не скрывая улыбки.

— Какого такого Герцена?

— Того самого, что в Лондоне издает журнал «Колокол».

— Что?! «Колокол»... журнал...

Остроты и смех остальных студентов-учителей вконец обескуражили полицейского. Только когда ему втолковали смысл немудрящей шутки, он отошел от опасного аппарата.

Портрет Герцена все же имелся у Льва Николаевича, и если бы полицейские ищейки его обнаружили, то это еще больше усилило бы их рвение найти повод для ареста «преступника». К счастью, одна из служанок догадалась вовремя схватить в кабинете Толстого его портфель, в котором хранились запрещенные книги, а также карточки Герцена и Огарева. Преданная служанка бросила портфель в канаву, заросшую бурьяном, что спасло Льва Николаевича от грозивших ему неприятностей.

Обыск длился целых два дня. Дом и школа Толстого были осмотрены от чердака до подвала. Даже в конюшне были вскрыты и выворочены полы. Что же говорить о том, что прямо попадалось на глаза. Письма... Дневники...

Самое заветное и дорогое душе Толстого было осквернено мерзкой проверкой.

Из Ясной Поляны жандармско-полицейская орда отправилась в окрестные села, где с таким же рвением были обысканы школы и опрошены учителя.

Что дал этот дикий, свирепый налет?

Об этом говорит не совсем грамотный рапорт полковника Дурново высшему начальству. «В доме графа Толстого, устроенном весьма просто, по осмотре его, не оказалось ни потайных дверей, ни потайных лестниц, литографных камней и телеграфа тоже не оказалось, хотя вице-губернатор, в разговоре со мной, и объяснил, что он предполагает, что у графа есть типография для печатания его журнала». Полковник доносил также, что в деревенских школах «никаких предосудительных бумаг не оказалось».

Разбойное жандармско-полицейское нападение на Ясную Поляну завершилось бесславно, породив отклики, для правительства совсем нежелательные. В России возмущались преследованием известного писателя, а за границей распространился слух о том, что он был схвачен в деревне, чуть ли не в кандалах доставлен в Москву и там заключен в тюрьму.

Едва узнав о происшедших событиях, Лев Николаевич поспешил в Ясную Поляну. Гнев и негодование еще сильнее охватили его при виде в усадьбе следов обыска. Потрясенный нанесенным оскорблением, он сказал, что огромное счастье, что все произошло в его отсутствие, иначе бы он «уже судился как убийца».

Своей тетке, близкой к дворцовым кругам в Петербурге, А. А. Толстой, он послал письмо, полное резкостей: «Какой-то из ваших друзей, грязный полковник, перечитал все мои письма и дневники, которые я только перед смертью думал поручить тому другу, который будет мне тогда ближе всех». И Лев Николаевич снова подчеркивает: «Счастье мое и этого вашего друга, что меня тут не было, — я бы его убил!»

Письмо заканчивается гневно: «Ежели бы можно было уйти куда-нибудь от этих разбойников с вымытыми душистым мылом щеками и руками, которые приветливо улыбаются. Я, право, уйду, коли еще поживу долго, в монастырь — не богу молиться, это не нужно по-моему, а не видать всю мерзость житейского разврата, напыщенного, самодовольного и в эполетах и кринолинах. — Тьфу!»

Нет, не сгоряча писал Толстой эти слова. И через некоторое время он вновь с тем же чувством возмущения обращает-

ся к тетке: «Надобно воевать и из последних сил биться против такого порядка вещей», или же «уйти туда, где можно знать, что ежели я не преступник, я могу прямо носить голову».

Шли дни, недели, а успокоение не приходило. Наоборот, все более возрастало стремление тем или иным образом смыть обиду. Толстой уже знал, что все произошло с ведома и благословения царя, что тот дал первый толчок жандармско-полицейской лавине, обрушившейся на Ясную Поляну. Однако это не смущает его, и он обращается к Александру Второму с жалобой, острие которой, по существу, направляется против самого царя.

«Кого упрекать во всем случившемся?» — спрашивает Толстой и просит ежели не наказать, то обличить виновных.

Ответ последовал от шефа жандармов через тульского губернатора. «Помещик граф Толстой» извещался, что, несмотря на то что в его школе работали учителями студенты, не имеющие «для жительства законных видов», все же для него лично это не будет иметь последствий. Иными словами, виновным во всем происшедшем оказался сам владелец Ясной Поляны, хотя он и освобождается от наказания.

Полицейский разгром привел к развалу дела, которому Толстой отдал столько сил, внимания, любви. Школа оказалась без учителей, к тому же недавние крепостные были так напуганы, что неохотно стали пускать своих детей учиться.

Яснополянская школа захирела. Но создатель ее не отрекся от своей клятвы посвятить жизнь образованию народа. Закрылась одна страница его деятельности и открылась новая.

Минуло десять лет. На весь мир прославилось имя автора романа «Война и мир» — произведения по своей грандиозности и глубине мысли небывалого в истории человечества.

Титанический труд! Под силу он был лишь такому художнику-исполину, как Толстой. Казалось бы, уже ничто другое тогда не могло выйти из-под его пера. Почему же в дневнике встречаются такие записи:

«Думал много о своих педагогических началах. Я обязан написать все, что знал об этом деле».

«Я все много думаю о воспитании... собираюсь написать обобщение всего того, что я знаю о воспитании и чего никто не знает или с чем никто не согласен».

Хотя нет яснополянской школы, но Льва Николаевича все еще захватывают мысли о просвещении и воспитании.

В разгар работы над «Войной и миром» в записных книжках наряду с материалами для романа появляется конспективный набросок: «Первая книга для чтения и Азбука для семьи и школы с наставлением учителю графа Л. Н. Толстого».

Не просто и не легко родилась эта своеобразная энциклопедия обучения грамоте. Создатель «Азбуки» сам много и длительно учился, постигал истины вовсе не азбучные. Можно только дивиться, как он успевает поглощать столько книг по философии, математике, истории, ботанике, зоологии, химии и другим наукам! Записные тетради его заполняются выписками и заметками по самым различным отраслям знания. «Скажите мне, что я буду жить в десяти лицах по 100 лет, и мы все не успеем переделать, что необходимо. Азбука одна может дать работы на сто лет. Для нее нужно знание греческой, индийской, арабской литератур, нужны все естественные науки, астрономия, физика», — говорит Толстой.

И он принимается за изучение греческого языка и делает такие успехи, что вскоре уже читает в подлиннике сочинения Ксенофонта, Платона, Гомера.

В письме другу Толстой сообщает: «Работа над языком ужасная — надо, чтоб все было красиво, коротко, просто и, главное, ясно». Он изучает русские сказки, былины, летописи, загадки, пословицы, поговорки, чтобы постичь тайну их красоты, простоты, ясности. Так он совершенствует и шлифует язык, которым должен быть написан учебник, ищет образцы чистой русской речи для хрестоматийного чтения.

Толстой убежденно говорил: «Гордые мечты мои об этой Азбуке вот какие: по ней будут учиться два поколения рус-

ских детей, от царских до мужицких, и первые впечатления поэтические получают из нее и что, написав эту Азбуку, мне можно будет спокойно умереть».

Осуществление гордой мечты походило на чудо среди земных будней. Писательский труд требовал невероятных усилий. В это время он создал такие шедевры мировой литературы, как «Война и мир», «Казачьи рассказы», «Анна Каренина», ряд замечательных повестей и рассказов. Но Толстой находит силы для занятия и педагогией.

Издание «Азбуки» оказалось делом чрезвычайно хлопотливым. Для лучшего ее восприятия Толстой задумал отпечатать текст разными шрифтами и снабдить его рисунками. Лишь после долгих поисков удалось найти типографию в Петербурге, согласившуюся удовлетворить требования автора.

Тысячеверстное расстояние между Ясной Поляной и столицей не способствовало скорейшему исполнению дела. Каждая поправка и указание по печатанию книги отнимали лишнее время. А автор отличался чрезвычайной взыскательностью к качеству издания. Еще бы: это плод его многолетнего труда, исканий, размышлений.

Наконец свершилось! 10 ноября 1872 года «Азбука» вышла в свет — объемистый том в 758 страниц.

Гениальный художник слова, мыслитель, педагог с огромным практическим опытом и теоретической подготовкой, один из образованнейших людей своего времени — такого создателя учебника для школ еще не знала история человечества.

Что, кроме благодарности, заслуживал он за свой великолепный, бескорыстный труд?

Однако поношение и клевета — частый удел первооткрывателей, идущих впереди своего времени. Так случилось и с удивительным учителем из Ясной Поляны.

Невежество, глупость и злость — ядовитый состав, в который кое-кто из критиков макал свое перо, оценивая «Азбуку». По мнению одного, автору «Войны и мира» не следовало писать ничего своего, а составить хрестоматию из произведений «образцовых писателей». «Ну, а уж если авторское



себялюбие чересчур щекочет, — советовал критик, — можно в пазах вклеить и свои думы и извороты, предлагая их терпению или суду общества».

Церковная газета «Современник» обрушилась на предложенные Толстым способы обучения грамоте. Она писала: «У всякого барона, так и у всякого графа — своя фантазия».

Рецензент педагогического журнала «Народная школа» проявил большую снисходительность. Осудив автора за бессистемность и ненаучность, он все же счел возможным рекомендовать его труд «ради немногих хороших статей и ради превосходного языка».

Спокойно и уверенно Толстой ответил на замечания невежд: «Азбуку разбрали, но это меня почти не интересует, я так уверен, что я «памятник воздвиг» этой Азбукой».

Слова были вещими. Всего через несколько лет «Азбука» стала главным пособием в школах, и автора ее признали основоположником русской детской литературы. Ему стали расточать самые высокие похвалы.

«Детские книги графа Льва Толстого следует знать всякому образованному русскому человеку, — писал один известный педагог. — Его детские книги — не плод художественной прихоти, а жизненное дело, совершенное с глубочайшим вниманием ко всем практическим подробностям, с высокой простотою и смирением. Во многих своих очерках и мелких рассказах он доходит до чисто пушкинской трезвости и силы».

Так же горячо отозвался о хрестоматийной части «Азбуки» и другой видный деятель народного образования: «Это верх совершенства как в психологическом, так и в художественном отношении. Что за выразительность и образность языка, что за сила, сжатость, простота и вместе изящество речи, что за краткость, отрывочность и вместе содержательность и законченность каждой фразы, каждого отдельного рассказа! Какая картинность в изображениях, и притом картинность чисто русская, народная, наша собственная!..»

Даже императорская Академия наук признала заслуги «неблагонадежного» графа. «Желая выразить глубокое уважение

к научным трудам», академия избрала его своим членом-корреспондентом по Отделению русского языка и словесности. Это была великая честь, которой редко кто удостоивался.

Однако не слава и не почет радовали Толстого, а то, что «Азбука» — плод его долгих исканий и неустанных трудов — наконец полноправно вошла в жизнь. Значит, цель достигнута — он исполнил свою давнюю клятву: нести свет знания народу. Целое поколение людей овладевает грамотой по книге яснополянского учителя. Нужда в ней так велика, что одно издание следует за другим, а книги всё не хватает. Предсказывают, что тираж ее достигнет двух миллионов экземпляров. Цифра невиданная.

Радуется и то, что возродилась школа в Ясной Поляне, хотя приняла она иной облик.

— Кончайте занятия!

— Еще немного! — просит Сережа.

— Чуть-чуть еще! — поддерживает брата Таня.

— Только недолго... — соглашается Лев Николаевич. Разве можно отказать детям, если они охотно сидят на уроках.

Занятия в школе идут превосходно. С тридцатью учениками занимаются сразу несколько учителей: он сам, его жена Софья Андреевна и их старшие дети. Впрочем, слово «старшие» может создать превратное представление. Сереже всего девять, а Тане семь лет, Илья совсем малыш — ему только пять.

Малолетние учителя с увлечением показывают сверстникам буквы. Никто не шалит; лишь однажды Илья повздорил со своей ученицей из-за того, как произносить мягкий знак. Вспыхивают и другие споры, но главное — все научились бойко читать по складам.

Время в классе летит незаметно. Лев Николаевич вынимает из кармана серебряные часы-луковицу. Пора приступать к другому уроку.

— На сегодня довольно! — Лев Николаевич решительно хлопает в ладоши.

Школьники знают: теперь напрасно просить, никакие уговоры не помогут.

В классе остаются только Сережа и Таня. Взгляд отца кажется им сейчас строгим. Но это вовсе не так, просто он более взыскателен к своим детям.

Говорить по-французски учит мать, а отец обучает чтению по своей необычной системе. Едва дети запомнили буквы, он сразу усадил их за книгу. Нет, не за учебник грамматики, а за роман Жюль Верна «Дети капитана Гранта». Как увлекательно читать эту книгу! Начали медленно, по складам, а потом все скорее, чтобы узнать, что будет дальше с рассеянным профессором Паганелем и его отважными спутниками.

Скорее бы перевернуть прочитанную страницу! Тогда отец покажет корабль, на котором плывут в жестокую бурю дети капитана Гранта, и как они спасаются на необитаемом острове, и как встречаются с разбойником Айртоном, и другие захватывающие дух сцены.

Рисунки отца гораздо интереснее иллюстраций, имеющих в книге, и каждая картинка неизменно вызывает восторг. Дети находят их как сюрприз между страницами книги. Такие занятия всякий будет ждать с нетерпением.

— Может, сегодня отменим урок? — Во взгляде Льва Николаевича смешливые искорки. Конечно, он не ждет иного ответа, чем тот, который услышал:

— Нет, нет, ни за что!

Час обеда прерывает занятие. Только после строгого напоминания Сережа и Таня захлопнули книгу и покинули класс.

Лев Николаевич остался один. В раскрытое окно доносится разноголосое пение птиц. В этот жаркий день сад особенно манит прохладой и тенью. Собственно, садов несколько, все они яблоневые, но каждый отличается своей неповторимостью. Перед домом обширный Красный сад, за ним Старый, за парком Молодой, за Большим прудом вниз к лугам тоже спускаются сады. Яблони растут и за липовыми аллеями, и даже в малиннике.

Весной, когда сады бурно цветут, воздушное белое облако на нежном зеленом лиственном фоне придает всему во-

круг сказочный вид. А осенью пьянящий аромат яблок разносится далеко за пределы усадьбы.

Радостно сознавать, что все это великолепие создано своими руками. Не только плодовые деревья, но и белые кудрявые березки, и раскидистые шатровые липы, и зеленые ели разрослись в усадьбе только за последние годы.

Приусадебные сады соседствуют с лесом, где трехвековые дубы широко раскинули могучие плечи, высоко вознесли к небу свои гордые вершины. Рядом с ними и столетние липы выглядят еще юными. Что же говорить о совсем недавних еловых посадках, хотя и они уже уверенно тянутся ввысь.

В распахнутое настезь окно теплый ветер несет хмельные ароматы лугов, полей, лесов. Лев Николаевич подставил навстречу ветру лицо, ветер раздувает его бороду. В ней уже поблескивают серебристые пряди, и волосы на голове чуть поредели, оттого высокий лоб кажется еще выше, а мохнатые брови стали еще мохнатее и гуще, они нависают так низко, что прячут глубоко взгляд. И все же глаза — главное в этом необыкновенном, часто меняющем свое выражение лице. Они зоркие, всевидящие, от них ничто не укрывается.

Взгляд невольно следил, как в небе плывут дымчатые облака. Тихие, неторопливые, они влекут за собой мысли в неведомые дали. Однако наступает миг, будто ветер внезапно изменил направление, и мысль вдруг устремляется в ушедшее время. Эта мысль о школе, которой отдано столько жизненных сил. Не напрасен ли был долгий, упорный труд?

Когда-то давно юнкер артиллерии граф Лев Толстой, служа на Кавказе, страстно желал получить георгиевский крест. И затем во время Крымской войны он мечтал о воинской славе и показал себя доблестно в Севастополе под жестоким огнем на четвертом бастионе.

Недаром один из любимых его героев в романе «Война и мир» князь Андрей Болконский грезит о славе Наполеона, «...Я ничего не люблю, как только славу, любовь людскую, — говорит он себе перед Аустерлицким сражением. — Смерть, раны, потеря семьи, ничто мне не страшно. И как ни дороги, ни милы мне многие люди — отец, сестра, жена, —

самые дорогие мне люди, — но, как ни страшно и ни неестественно это кажется, я всех их отдам сейчас за минуту славы, торжества над людьми, за любовь к себе людей...»

Столь страстно желаемую награду не удалось получить. И исподволь померкло бывшее тщеславие. Громкая слава писателя затмила самые честолюбивые устремления.

Благородная слава! Радостно знать о своем влиянии на других людей, только тогда убеждаешься, что огонь, который в тебе, — настоящий, если он так зажигает. Не потому ли Ясная Поляна становится местом людского паломничества. Старики, молодые, высокопоставленные и низших сословий, мужчины и женщины, исповедующие разные религии и во все ни во что не верующие, но равно жаждущие познать истину, — ищут ее в Ясной Поляне.

Когда-то и он также тянулся ко всему, что обещало открыть свет истины. Блуждал в потемках... Лишь близкое соприкосновение с жизнью приблизило к цели. Потому занятия с крестьянскими детьми и работа над созданием «Азбуки» явились для него самого отличной жизненной школой. Так он, писатель, приобщался к истокам великой правды.

Звонкие детские голоса в Красном саду прервали ход мыслей. Кто-то из ребятишек протяжно аукнул:

— Аа-ааа-ууу!

Лев Николаевич свесился из окна, сложил руки рупором и раскатисто пророкотал:

— Оо-гоо-гооо!..

«Го-гооо...» — откликнулось далекое эхо.

Легкими шагами — не скажешь, что уже пятый десяток! — яснополянский учитель поспешил в Красный сад.

Вечером того дня Толстой записал в дневнике: «Радостно... Нет, этот мир не шутка, не юдоль испытания только и перехода в мир лучший, вечный, а это один из вечных миров, который прекрасен, радостен и который мы не только можем, но должны сделать прекраснее и радостнее для живущих с нами и для тех, кто после нас будет жить в нем».

# ВОСПИТАНИЕ ТАЛАНТА



## УЕЗДНЫЙ ЛЕКАРЬ

**В**ысокий, худощавый, в шляпе, сдвинутой на затылок, в черном плаще, который за развевающиеся на ходу полы называют «крылаткой», он идет, с любопытством поглядывая по сторонам.

Он молод, на вид ему около двадцати, походка его легкая, но при том в фигуре угадывается спокойная уверенность зрелого человека.

— Чикинский доктор! — Уличные мальчишки бегут ему навстречу. — Обещали показать... как особенный змей клеить.

— Раз обещал — покажу. А сейчас некогда, судари мои дорогие... — Чикинский доктор торопливо шагает дальше.

Жители подмосковного городка Воскресенска, как водится среди обитателей маленьких городков, склонны посуда-



чить о прохожих. Ну, а уж когда на улице столь приметная фигура в крылатке, то к окнам приникают все, кому не лень оторваться от раскладывания пасьянса, варки варенья или просто послеобеденного отдыха.

Вдова коллежского советника, домовладелица, некая госпожа Перепелицына — об этом извещает табличка над калиткой дома с мезонином — свесилась из окна всем своим тучным телом, глядя вслед чикинскому доктору.

— Прошлый год гостил у брата своего, что учителем в приходской школе, ходил в студенческой фуражке, а теперь, вишь, ниверситет кончил. Дохтур и, слышь, писатель, — громгласно шепчет госпожа Перепелицына соседке, лузгающей семечки на скамейке.

— Может, самозванец, — ответствует соседка.

— Фельдшер Алексей Кузьмич своими глазами видел бумагу гербовую, он сказывал мне, слово в слово запомнила: «Лекарю Антону Чехову дано сие свидетельство в том, что он по надлежащем испытании в медицинском факультете утвержден в звании уездного врача. Дано в Москве ноября 15 дня 1884 года».

— А ежели бумага фальшивая, даром что гербовая?

Соседки судачат с упоением о том, «какой народ ныне пошел — верить никому нельзя. Намедни на базаре...»

Лекарь идет мимо трактира «Гайда тройка». На вывеске золотой самовар с огромной дымящейся трубой, он так кипит, что пар валит из крана. «Гайда тройка» — самое шумное место в городе. Однако сегодня, в понедельник, и тут нет обычного оживления: завсегдатаи после праздничного гуляния отсиживаются по домам.

Спокойствие царит и на пожарной каланче. Дежурный дремлет, последний пожар в городе был давно, и команда разбрелась — кто на свой огород, кто на рыбную ловлю.

В тишине еще звучнее перезвон монастырских колоколов.

Воскресенск — город заштатный, не имеющий административного значения. Единственная его достопримечательность — монастырь, не знающий себе равного по красоте.

Он был задуман наподобие древнего Иерусалимского храма и оттого назван Новым Иерусалимом. Патриарх Никон сооружал его, не жалея средств, возвел в ранг ставропигиальных (крестовоздвиженских), что означает — крест здесь водружен самим патриархом.

Грандиозность и великолепие храма должны были символизировать всемогущество патриарха и приоритет церковной власти.

О, если бы подобная забота проявлялась о земных человеческих нуждах! Тогда бы больница, где работает Антон Чехов, не ютилась в старом, тесном помещении. А работает он не покладая рук. И не только как врач, но и как писатель.

Правда, Чехов отшучивается, когда его называют писателем. «Я — доктор, пишу для заработка, чтобы поддержать нашу большую семью».

Семья Чеховых действительно велика: отец Павел Егорыч, мать Евгения Яковлевна, сыновья — Александр, Николай, Антон, Иван, Михаил и дочь Маша.

Никогда Чеховы не отличались достатком, да и теперь, когда сыновья становятся на ноги, живут более чем скромно. И жизнь сложилась так, что младшему Антону приходится быть за старшего.

«В детстве у меня не было детства», — говорит Антон Чехов. И он прав. Характер у отца тяжелый, деспотический, лаской детей он не баловал. С малых лет им приходилось трудиться. Отец заставлял их торговать в своей мелочной лавке, петь в церковном хоре или находил скучнейшую работу по дому.

Сам Павел Егорыч коммерсантом был незадачливым. Разорился. Обремененный долгами, он перебрался в Москву. Но и здесь не сумел вылезти из нужды. К тому времени гимназист Антон стал студентом и по-взрослому взял семейные бразды в свои руки.

Почему же старшие братья Александр и Николай уступили эту роль младшему, Антону?

В чем таилась сила его?

...Улицы Воскресенска мало отличаются одна от другой. Разве что у одного дома лениво брешет кудлатый пес, а у другого бесстыдная коза забралась в огород и, незамеченная хозяевами, торопливо объедает капусту.

Чикинский доктор ускоряет шаг. Скоро прием в больнице, а надо еще поспеть в почтовую контору за журналом, в котором он надеется увидеть напечатанным свой новый рассказ. Это будет важным событием для него как литератора. Рассказ дался не сразу, не просто и должен прозвучать по-иному, чем его прошлое творчество.

Впрочем, можно ли назвать творчеством то, чем он занимался до недавнего времени? Пишет он много, с завидной легкостью и быстротой. Он говорил одному из своих друзей: «Знаете, как я пишу свои маленькие рассказы? — И, взяв со стола первую попавшуюся вещь, — это оказалась пепельница, — заверил: — Хотите, завтра будет рассказ? Заглавие «Пепельница».

Юмористические журналы, коих издается изрядное количество в Москве и Петербурге, охотно принимают его шуточные рассказы, фельетоны, комические сценки и подписи к карикатурам.

«Стрекоза», «Зритель», «Мирской толк», «Свет и тени», «Спутник», «Русский сатирический листок», «Развлечение», «Сверчок», «Будильник», «Осколки» — вот не полный перечень журналов и журнальчиков, где он печатается под разными псевдонимами вроде: «Антоша Чехонте», «Чехонте», «Антоша Ч.», «Антоша», или более замысловато: «Человек без селезенки», «Брат моего брата», «Врач без пациентов» и просто «Ан. Ч.».

Сколько подававших надежды литераторов погибло из-за спешного, бездумного писания! Что греха таить, и он, обладатель стольких псевдонимов, не был взыскательным к себе, отчего появлялись всякие «финтифлюшки», за которые теперь он сам краснеет при воспоминании.

Немало труда пришлось положить, чтобы научиться смотреть на действительность острым писательским глазом. Легкомысленные «Человек без селезенки», «Антоша Ч.» и

«Антоша» отступают перед вдумчивым пытливым Антоном Чеховым, и забавные, зачастую пустые мелочишки из отдела «О том, о сем» превращаются в глубокие по мысли вещи.

Он уже автор рассказов «Хамелеон», «Унтер Пришибеев», «В бане» и «Упразднили». Смешные эти рассказы заставляют задуматься.

В рассказе «Упразднили», например, маленький человек, узнав, что его офицерский чин упразднен, в страхе считает себя вычеркнутым из жизни. Упразднили звание — упразднили человека.

Сложна, запутанна, многообразна жизнь. Понять и объяснить ее — высший долг писателя. Так ныне думает бывший автор «финтифлюшек».

С волнением приближается он к дому, на котором синяя вывеска с двумя накрест сложенными горнами извещает, что тут находится почтовая контора.

Начальник конторы Андрей Егорович, еще из окна заметив чикинского доктора, спешит его порадовать:

— Извольте получить почтовое отправление! Журнал «Осколки».

Андрей Егорович протягивает пакет, обклеенный марками с теми же перекрещенными горнами. Это эмблема российской почты с тех давних времен, когда почтари ездили на лошадях и извещали о своем прибытии звуками рожка. Эмблема украшает самые различные предметы в конторе: марки, конверты, штемпеля и даже пуговицы на форменной тужурке Андрея Егоровича.

— Извините — полюбопытствовал... — продолжает он. — Ознакомился с вашим произведением... Преотличная штучка! Истинно описано: чихнул чиновник в театре на лысину генерала и умер со страху. Хотя его превосходительство из чужого департамента, все едино нашему брату подобная встреча боязна до смерти. Меня, как не имеющего чина, полагаю, тут же на месте хватил бы кондратий. Двадцать один год по нашему ведомству беспорочно служу и низшего чина коллежского регистратора не удостоен.

— Почему? — сочувствует Чехов. — Пуговицы носите форменные, а петличек нет.

— Ибо не имею образования. Однако в скорости должен сдать экзамен на чин. Готовлюсь.

Чехов обладает даром так слушать, что и малознакомые люди открывают ему свою душу, делятся заветным. Ничего, что при этом сам он больше помалкивает, лишь иногда сочувственно кивает головой. Это нисколько не мешает тому, кто говорил один, утверждать потом: «Мы отлично побеседовали».

— Опасаюсь, однако, что учитель географии Галкин на меня злобу питает. Провалит на экзамене, как бог свят! — Андрей Егорович говорит горячо и от волнения потирает вспотевшую лысину. — А злится он, поверьте, из-за сущего пустяка. Приходит однажды с заказным письмом и лезет сквозь всю публику. Хоть он и образованного класса, но я сделал ему приличное замечание: «Дождитесь очереди, милостивый государь!» Он вспыхнул и с той поры восстает на меня, аки змий. Сынишке моему единицы выводит, а про меня разные названия по городу пускает. Иду-с я как-то мимо трактира, а он навстречу и произносит во всеуслышание: «Марка, бывшая в употреблении, идет!» Это про меня-то... Ей-ей, как бог свят, провалит меня на экзамене...

Андрей Егорович говорит и говорит, не замечая, что его молчаливый собеседник вынул карандаш и что-то записывает в тетради, которую постоянно носит с собой в кармане.

— А вдруг спросит, какое правление в Турции? Известно какое — турецкое... Ну, ежели задает вопрос о Ганге? Знаю, Ганг — это которая река текет в Индии, текет в океан...

— Н-да... А какой губернии город Житомир? — отрывается от тетради Чехов.

Почтмейстер мучительно думает. От напряжения на лбу у него выступают капельки пота. Наконец он выдавливает из себя:

— Тракт восемнадцать, место сто двадцать один... По ведомству своему служу долго и беспорочно, однако, поверьте,

дрожу, осмеливаясь подвергнуться испытанию на первый классный чин.

— Авось все обойдется, будете коллежским регистратором, — утешает Чехов.

Ему пора уходить. В больнице скоро начнется прием. Он прячет записную книжку, свертывает трубочкой журнал и, дружески попрощавшись со старым служакой, выходит на улицу.

Черная крылатка разлетается на ходу, длинные полы путаются в ногах. Чехов шагает быстро, не замечая, что крылатка тяжела, что в ней жарко, что в это чудесное летнее утро она вовсе не нужна и ее следовало бы снять и перекинуть через плечо.

Когда в руке журнал с напечатанным своим рассказом, когда записная книжка обогатилась новым интересным сюжетом, — разве может тогда что-нибудь отвлечь от радостных мыслей? Уже сколько раз приходилось видеть свои писания напечатанными, однако никогда прежде это не приносило такого удовлетворения, как теперь.

В обычных, на первый взгляд ничего не значащих сюжетах он научился видеть скрытую глубину. Похожий на анекдот случай с чиновником, чихнувшим в театре на лысину генерала и умершим со страху, рассказал воскресенский помещик Бегичев. В прошлом театральный директор, он уверял, что был свидетелем этого происшествия, и покатывался со смеху, описывая перепуг мелкого чиновника.

«А ведь страшная суть в этом анекдотическом происшествии... — подумалось тогда Чехову. — До чего надо унижить человека, чтобы он умирал от страха перед властью имущим. Чины и звания в российской действительности важнее самого человека, его достоинства, гордости, знаний, ума».

Судьба маленького человека... Сколько трагичного в его незаметном, скромном существовании! Как мы несправедливо жестоки в своем невнимании к таким людям.

Чехов представил, как старый почтмейстер, мечтающий стать чиновником хотя бы самого низшего класса, явится держать экзамен, как встретит там своего врага, учителя геогра-



фии, и тот станет задавать ехидные вопросы, чтобы провалить экзаменуемого старика. Смешная и в то же время грустная картина!

«Надо обязательно написать на эту тему рассказ!» — С такой мыслью Чехов подошел к больнице.

У крыльца ее толпились больные, пришедшие из окрестных сел и деревень. В большинстве бабы с детьми. Закутанные в платки и шали, они судачили о всяких «болестях». Мужчины стояли в сторонке, покуривая махорочные цыгарки и козьи ножки, свернутые из газетной бумаги.

В толпе выделялась фигура, в которой трудно было распознать, мужчина это или женщина. Лишь подойдя ближе, Чехов узнал дьячка из соседней церкви. В засаленной выцветшей рясе, со щекой, завязанной красным платком, он напоминал худую, сморщенную старуху. Его, очевидно, мучила зубная боль, и он ахал и охал совсем по-старушечьи.

Заведующий земской больницей доктор Архангельский уже начал прием. Фельдшер Алексей Кузьмич и студент-практикант, которого все запросто звали Мишей, еле успевали ему помогать. Доктор Архангельский работал неугомонно и весело. «Улыбка — лучшее лекарство от усталости, — говаривал он. — А чтобы улыбаться, надо больше шутить». И он шутил. Особенно со своим ассистентом Чеховым, умевшим подмечать и ценить все смешное.

И сейчас, как обычно, Архангельский был настроен весело.

— Здравствуйте, писатель! — откликнулся он на привет Чехова. — Принимайтесь за писание... рецептов. — Довольный своей шуткой, он первый рассмеялся.

Вскоре в приемную вошел дьячок. Переступив порог, он поискал глазами икону и, не найдя ее, перекрестился на пустой угол.

— Зуб... — вымолвил дьячок. — Измучил, моченьки нет никакой. Так и ломит, так и ломит. В ухо отдает, извините, словно в нем гвоздик или другой какой предмет. Так и стреляет, так и стреляет! Страдаю за грехи тяжкие... Помогите, спасите, батюшка! Отец иерей нынче после литургии упрек-

нул: «Косноязычен и гугнив ты стал, поешь так, что ничего у тебя не разберешь!» А какое, судите, тут пение, ежели рта раскрыть не могу, все распухло, извините, и ночь не спавши...

— К зубному врачу следует обратиться! — сказал Архангельский, занятый осмотром больного мальчика.

— Ходил, батюшка, ходил, однако зубной уехамши. Окромя вас, никакой медицины. Уж я и водку с хреном прикладывал — не помогает... Ой, света не вижу!

— Повторяю, специальность это не наша!

— На то вы и обучены, чтобы дело свое понимать, как оно есть, господь просветил вас, что мазью, а что каплями или прочим пользоваться... Ой, мать пресвятая, дергануло как! Благодетели мои, окажите помочь... Вввв!

— Ну, что с ним делать? Миша, помогите ему, как сможете. Главное, утихомирьте его, мне надо выслушать больного, — распорядился Архангельский.

В приемной наступила тишина. Но ненадолго. Из соседней комнаты, куда удалился Миша со страдающим зубной болью дьячком, послышалось сначала глухое мычанье, затем отчаянный крик: «Ой! Ой!»

В приемную вбежал Миша с щипцами в руке.

— Павел Арсентьевич, — в полном смущении обратился он к Архангельскому. — Я здоровый зуб...

— Что?

— Того...

— Что того?

— Вырвал нечаянно... Что делать?

— Ничего, ничего! — расхохотался Архангельский. — Продолжай дальше, авось и до больного доберешься.

Студент поспешил обратно. Снова наступила тишина, и опять она длилась совсем коротко.

Из помещения, где трудился Миша, донесся истошный голос: «Отцы радетели... Ангелы! Ого-го...»

Потом на миг все замерло, и вдруг дьячок отчаянно заорал:

— Ой, сломал! Чтоб тебя на том свете, ирода проклятого,

черти сжарили... Коли не умеешь рвать, так не берись!  
Ого-го...

Бедняга дьячок, стелая от боли, держась обеими руками за щеку, ушел восвояси.

А Миша? Студент страдал еще более от смущения.

— Не отчаивайся, Миша! — смеялся Архангельский. — Наберешься опыта, научишься и зубы рвать, коли потребует-ся. Решительность в тебе есть, знания придут — врачом будешь отличным! А вы, Антон Павлович, напишите об этом рассказ. Напишите обязательно, да посмешнее.

— Напишу, только не Миша будет героем рассказа.

— А кто же?

— Алексей Кузьмич — наш уважаемый фельдшер.

— Почему же он?

— Прочтете и убедитесь... — уклончиво ответил Чехов.

— Я? — приятно осклабился фельдшер. — С превеликим удовольствием согласен споспешествовать господину Чехову в литературном преуспевании.

Алексей Кузьмич выражался витиевато и любил напускать на себя непомерную важность. В отсутствие доктора он принимал больных и тогда для пущей важности закуривал дешевую вонючую сигару.

## ЗЕРКАЛО ЖИЗНИ

Семья Чеховых живет на даче в верстах пяти от Воскресенска, в усадьбе Бабкино. Усадьба принадлежит Киселевым, людям культурным, чутким ко всему красивому, будь то в природе или в искусстве. Киселевы искренне привязались к «семье талантов», как они зовут Чеховых. Действительно, братья Александр и Михаил — подающие надежды литераторы, Николай — одаренный художник, их сестра Маша — способная рисовальщица, а что касается Антона, то, по общему мнению, он писатель с великим будущим.

Различны характеры Чеховых, но это нисколько не мешает их взаимной любви и привязанности.

Впрочем, познакомимся с ними поближе.

Утро в Бабкине начинается рано. Едва над усадебным парком, посаженным на английский манер — в виде естественного, вольного и густо растущего леса, — подыметя солнце, как оживает флигель, примыкающий к самому парку. У окна, глядящего прямо на липовую аллею, притулился столик от швейной машины. На нем еле умещается школьная чернильница «ванька-встанька» и стопка бумаги. Антон Павлович, видно, не гонится за комфортом. Он пишет сосредоточенно, быстро, не глядя макает перо в чернильницу. Только изредка отрывается он от бумаги, задумчиво поглядит в раскрытое окно, прислушается к гомону птиц в парке и снова склоняется над столом.

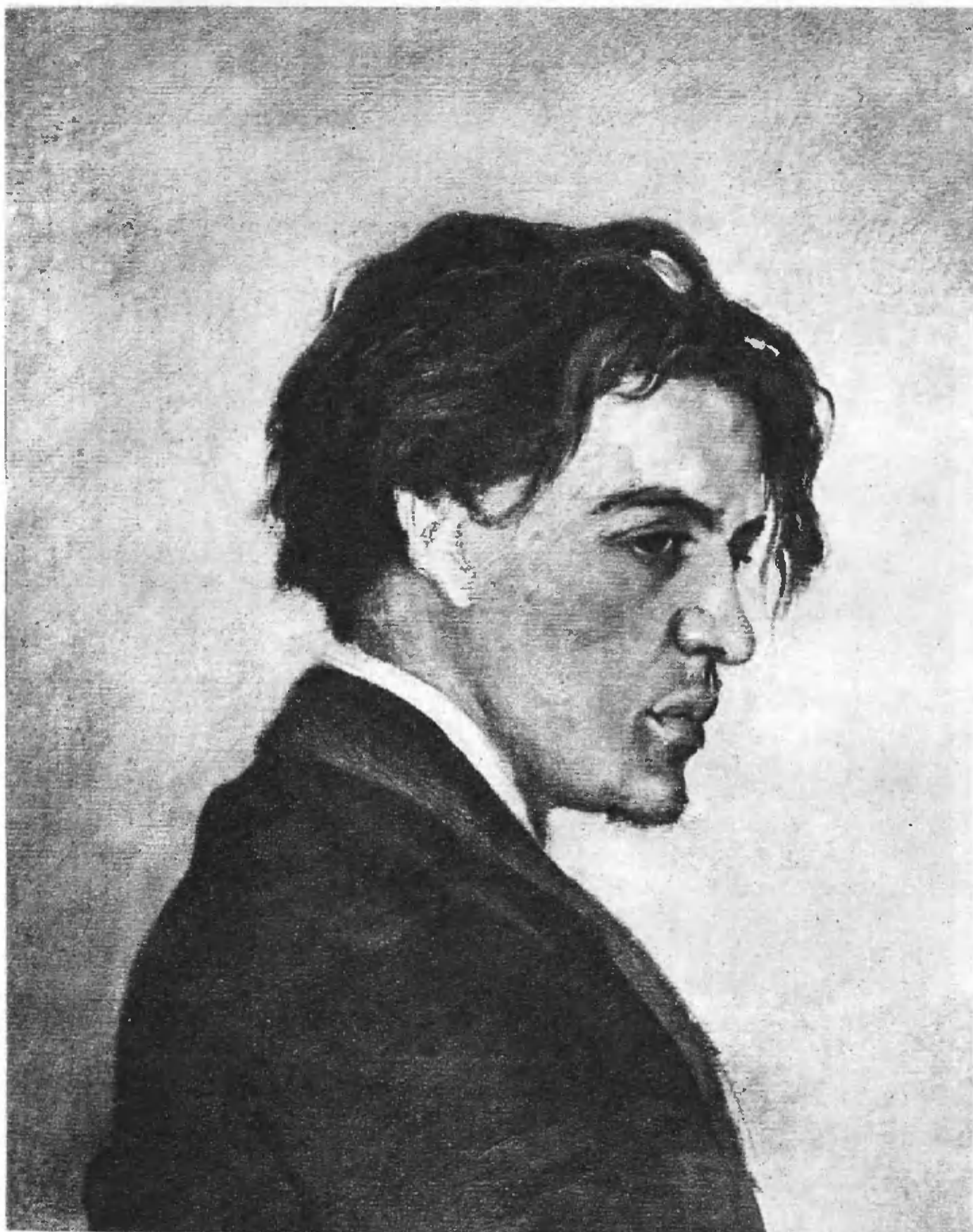
Исписанные листки бумаги заполняют крохотный столик. На первом листке заголовок: «Хирургия». Случай, когда студент Миша вырвал здоровый зуб у дьячка, превращается в стройный сюжет.

Однако главный герой рассказа не Миша, а фельдшер Алексей Кузьмич Адрианов. Нет, это не прихоть, возникшая в разговоре с доктором Архангельским.

Доктор верно заметил, что студент попал впросак не только от своей неопытности, а более всего от неутолимого стремления стать хирургом.

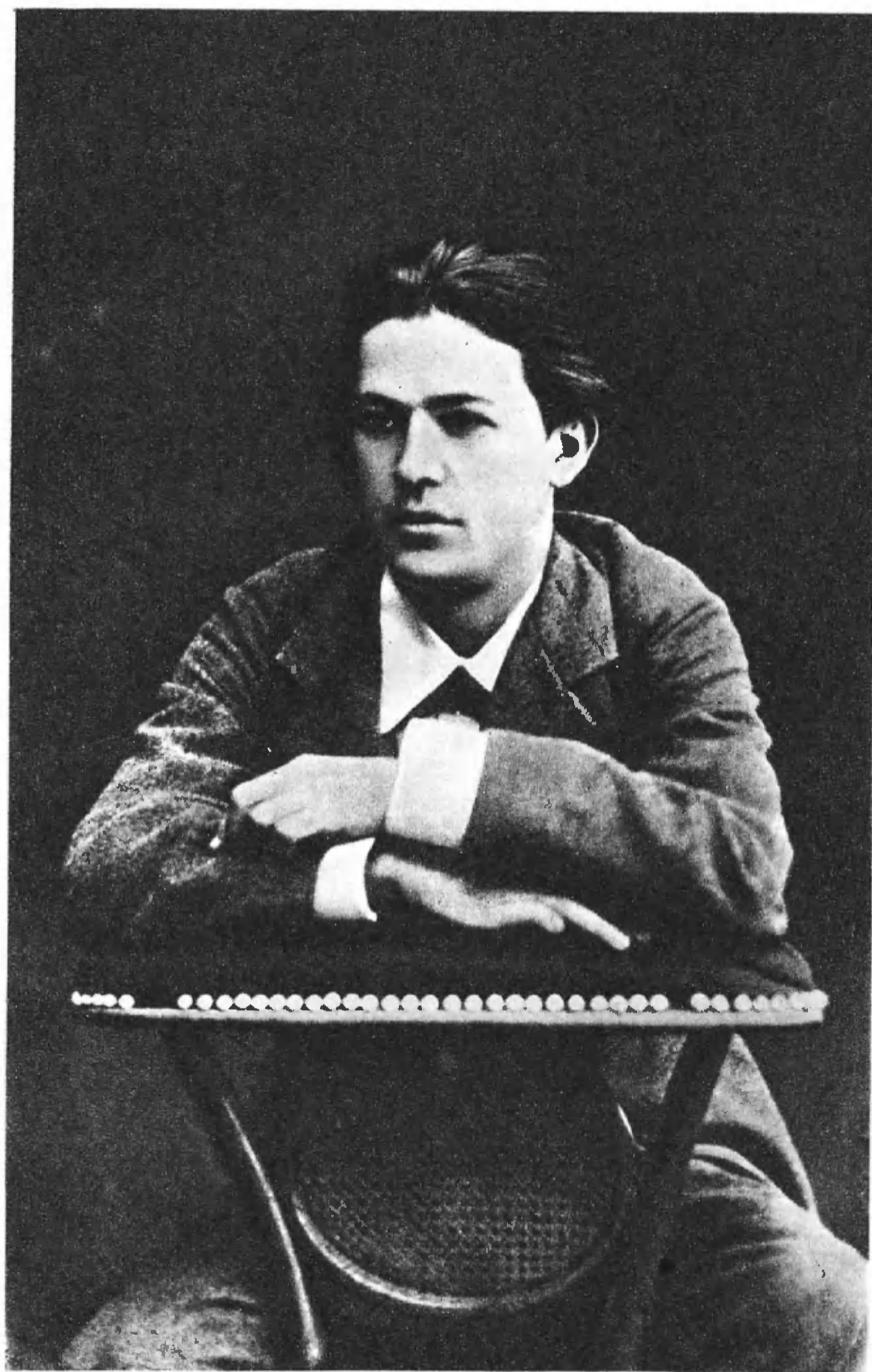
Иное дело фельдшер Алексей Кузьмич. Невежество и самонадеянность его безмерны. Забавный тип! Ежели бы он взялся лечить дьячка, то положение осложнилось бы вовсе. Давно хочется рассказать вот о таком фельдшере, берущемся лечить все болезни. Ох, сколько их в сельских больницах на Руси!

Чехов кладет ручку на край стола, берет исписанные страницы, внимательно их перечитывает: «Земская больница. За отсутствием доктора, уехавшего жениться, больных принимает фельдшер Курятин, толстый человек лет сорока, в поношенной чечунчовой жакетке и в истрепанных триковых брюках. На лице выражение чувства долга и приятности. Между указательным и средним пальцами левой руки — сигара, распространяющая зловоние.



АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ.  
*Портрет работы Николая Чехова, брата писателя. 1883 год.*





Чехов студент.  
Фотография 1883 года. Москва.



**БИЛЕТЪ**  
НА ПРАВО СЛУШАНІЯ ЛЕКЦІЙ.  
**ИМПЕРАТОРСКАГО**  
**МОСКОВСКАГО УНИВЕРСИТЕТА**  
СТУДЕНТУ  
МЕДИЦИНСКАГО ФАКУЛЬТЕТА  
2<sup>го</sup> КУРСА.

*Антону Чехову*

НА 1-Ю ПОЛОВИНУ 1880—81<sup>го</sup> ГОДА.

Данъ 1880<sup>го</sup> года *Сентября 30*

*Искр.* Инспекторъ *А. Вильмовъ*

*Губернц*

№ *21*

Студентъ: *Антонъ Чеховъ*

Студенческий билет А. П. Чехова.



Сотрудники журнала «Будильник».  
Рисунок Николая Чехова.





# СВИДѢТЕЛЬСТВО.

Отъ Совѣта ИМПЕРАТОРСКАГО Московскаго Университета Лѣварю Антону Чехову дано сіе свидѣтельство въ томъ, что онъ, по подлежащемъ испытаніи въ Медицинскомъ факультетѣ, опредѣленіемъ Университетскаго Совѣта, 15 сентября сего года состоявшимся, утвержденъ въ званіи *Уезднаго Врача*. Дано въ Москвѣ. Ноября 15 дня 1884 года.

Ректора Университета

*Ивановъ Богдановъ*

Декана Медицинскаго Факультета

*Ивановъ Александровъ*

Секретаря по студенческимъ дѣламъ

*Васильевъ Александръ*

Свидѣтельство получило

*Антонъ Чеховъ*

30<sup>го</sup> ноября 1884г.

№ 4157

У сего свидѣтельства ИМПЕРАТОРСКАГО  
Московскаго Университета печать.

Свидѣтельство на званіе врача, выданное А. П. Чехову.

29 МАЯ 1885

51602  
№ 4983.

На большой дороге

Драматический этюд в одном  
акте

А. Чехов

№ 1  
Мне представлено рукописание  
Неудобского  
20-го сентября 1885 г.

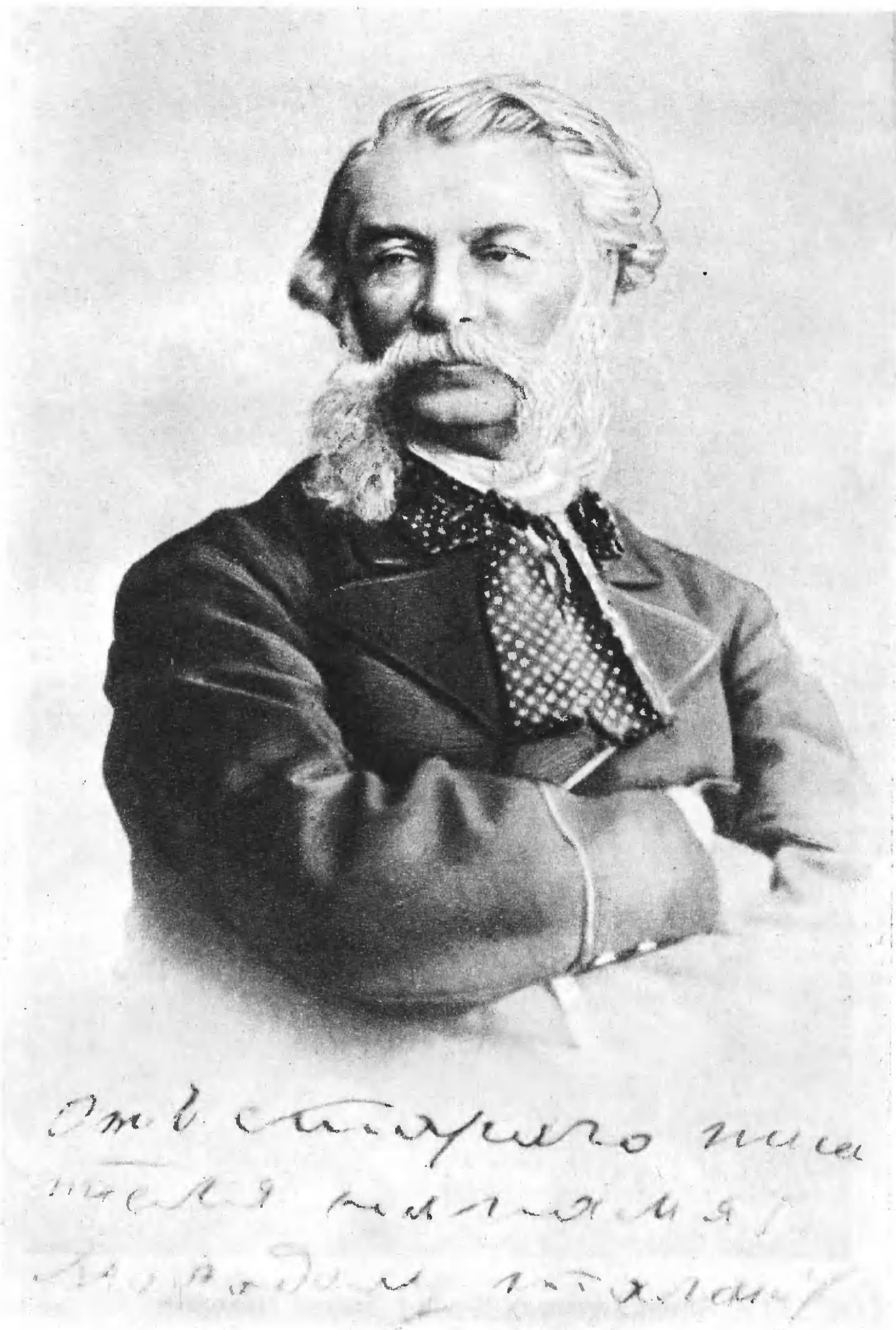
Министр Императорского  
Университета  
С. Ю. Витт

А. П. Чехов. «На большой дороге». Цензурный экземпляр рукописи.



Виньетка для книги «Пестрые рассказы».  
1886 год.





Фотография Д. В. Григоровича с дарственной надписью А. П. Чехову.  
1886 год.



Антон Павлович Чехов с братом Николаем.



Бабкино.  
*Рисунок Николая Чехова.*



# Сапоги въ смятку

Рассказъ для дѣтей  
с иллюстраціями  
Сот Архипа Индюшкина  
(Посвящается Василию и Сергѣю)

Одобрено Ученымъ Комитетомъ не только для  
дѣтей, но даже и для генераловъ, архимандритовъ,  
непримиримыхъ геновъ и писательницъ

Цена 17 коп.

Разрешено цензурою съ тѣмъ, чтобы дѣти сидѣли  
мирно за обѣдомъ и не кричали, когда старшие  
спятъ

Цензоръ Пузиковъ

## Глава II

Каждое утро дяди просыпались и домъ Брычкиныхъ поражалъ весья тишиною



Напившись чаю, дяди сажались учиться.  
Къ нимъ приходилъ имъ учитель Дор  
мидохтъ Дифтеритовичъ Брычкинъ,



личность свѣтлая и ученая. Водки онъ  
не пилъ, а только пахнулъ ею. Говорилъ  
онъ хриплымъ басомъ и смѣялся, какъ ло  
шадь. Учениковъ былъ линейкой



Река Истра в окрестностях Бабкина.



Пелевшинская церковь в окрестностях Бабкина.





И. И. Левитан во время болезни.  
Рисунок Николая Чехова. 1885 год.



АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ.  
Акварель И. И. Левитана. 1885 год.

В приемную входит дьячок Вонмигласов, высокий, коренастый старик в коричневой рясе и с широким кожаным поясом. Правый глаз с бельмом и полузакрит, на носу бородавка, похожая издали на большую муху. Секунду дьячок ищет глазами икону и, не найдя таковой, крестится на бутылку с карболовым раствором, потом вынимает из красного платочка просфору и с поклоном кладет ее перед фельдшером.

— Ааа... мое вам! — зевает фельдшер. — С чем пожаловали?

— С воскресным днем вас, Сергей Кузьмич... К вашей милости... Истинно и правдиво в псалтыри сказано, извините: «Питие мое с плачем растворях». Сел намедни со старухой чай пить и — ни боже мой, ни капельки, ни синь-порох, хоть ложись да помирай...»

Чехов зачеркивает строку, показавшуюся лишней, заменяет несколько слов другими, поправляет знаки препинания. Тщательно отделяет все до мелочей — правило, которого держится он строго и неукоснительно.

Поведение обоих героев и их смешные фамилии вызывают довольную улыбку автора. Признаться, у него слабость сочинять забавные клички, имена, фамилии. Записная книжка пестрит такими находками. Вот, например: городской Жратва, чиновник Мзда, домовладелец Швейн, учитель французского языка Антр-Ну-Суади, гимназист Высекин, маленький школьник Трахтенбауэр.

Глубоко показать своих героев — вот к чему более всего он стремится. Ну что ж, Вонмигласов и Курятин ясны в рассказе уже с первого своего появления.

Фельдшер, напустив важность, предлагает пациенту:

«— Мда... Садитесь... Раскройте рот!

Вонмигласов садится и раскрывает рот.

Курятин хмурится, глядит в рот и среди пожелтевших от времени и табаку зубов усматривает один зуб, украшенный зияющим дуплом.

— Отец диакон велели водку с хреном прикладывать — не помогло. Гликерия Анисимовна, дай бог им здоровья, да-

ли на руку ниточку носить с Афонской горы да велели теплым молоком зуб полоскать, а я, признаться, ниточку-то надел, а в отношении молока не соблюл: бога боюсь, пост...

— Предрассудок... (Пауза). Вырвать его нужно, Ефим Михеич!»

И фельдшер приступает к операции, пускаясь в рассуждения, все более и более обнаруживающие его невежество.

Вот Курятин взял щипцы и обращается к больному.

«— Ну-с, раскройте рот пошире...— говорит он, подходя с щипцами к дьячку.— Сейчас мы его... тово... Раз плюнуть... Десну подрезать только... тракцию сделать по вертикальной оси... и все... и все...»

Вонмигласов проникнут доверием к учености фельдшера. Он терпит адскую боль, когда тот тянет щипцами здоровый зуб. Так проходит мучительнейшая минута — и вдруг щипцы срываются с зуба. Пациент и лекарь переругиваются.

Операция возобновляется. Дьячок взмолился: «Света не вижу... Дай дух перевести... Ох! (Садится.) Не тяни только долго, а дергай. Ты не тяни, а дергай... Сразу!»

Комические положения легко могут стать самоцелью и увести рассказ от основного замысла. Надо обладать чувством меры, чтобы отказаться от их соблазнов. Чехов чутко чувствует эти грани, взыскательный вкус художника как будто диктует ему: «Довольно, остановись! Иначе ты уйдешь от большой мысли».

И он обрывает рассказ. Хирургическая операция завершается совсем коротенькой сценой, но она до конца раскрывает тему. И кусочек жизни, преломившись в зеркале искусства, становится живой правдивой картиной.

Антон Павлович снова перечитывает рассказ и опять что-то в нем исправляет. Наконец остается лишь перебелить рукопись. Почерк Антона Павловича не крупный, тонкие буквы ложатся ровными, аккуратными рядами.

Еще несколько лет назад старший брат Александр руководил его первыми литературными опытами. Брат тогда был для него непререкаемым авторитетом. Студент физико-математического факультета, он уже считался опытным писате-

лем, так как печатался в газетах и журналах. И замысловатые псевдонимы его звучали внушительно: «Агафопод Единицын», «Алоэ», «Седов».

Александр окончил университет и, казалось, мог бы целиком отдаться творчеству. Но нет, он тянет скучную служебную лямку в таможенном ведомстве.

Что это — несправедливость злой судьбы? Или закономерность требовательной жизни?

Сложный характер у Александра Чехова, он большой оригинал и фантазер, всегда придумывает что-нибудь необыкновенное.

Однажды смастерил искусственных насекомых. Они согревали цыплят, вылупившихся из самодельного инкубатора. А то изобрел диковинные часы из прутьев, пробок и древесных лишаев. Сколько упорного труда надо было приложить, чтобы стрелки из прутьев двигались! Часы эти вращались безбожно, все же создатель их был счастлив. Доставляет ему радость и то, что пол в его комнате устилает линолеум, который он сам сделал из бумажной массы, на что истребил огромное количество старых газет, а главное, драгоценного времени.

Эх, брат, брат... Мысли об Александре не дают покоя Антону Павловичу.

Заботит и судьба брата Николая. Могучий русский талант у него! По силе своего таланта он, кажется, выше всех в семье. Но...

После пяти классов гимназии Николай поступил в Школу живописи, ваяния и зодчества в Москве, однако не закончил полного курса: «надоело». Еще студентом он начал рисовать для журналов и всяких мелких журнальчиков иллюстрации и карикатуры. Легкий заработок! И уходил он легко на... вино.

Но временами Николай весь отдается работе и тогда творит прекрасные, вдохновенные вещи. «Девушка в голубом», ранняя его работа, сразу привлекла внимание к молодому художнику. Картину «Гулянье первого мая в Сокольниках» прямо с выставки приобрел меценат за значительную сумму.



Другая картина — «Въезд Мессалины в Рим» — написана Николаем совместно с И. И. Левитаном — художником, который, бесспорно, станет гордостью России.

А до чего хорошо написал Николай его портрет — Антона!

Николай обладает и музыкальным талантом. Прекрасно играет на скрипке, а на рояле — почти с виртуозным совершенством. Известный своей требовательностью дирижер Шостаковский был в восхищении, услышав, как Николай Чехов исполняет Вторую рапсодию Листа.

Природа щедро одарила Николая. Сколь многого мог бы он достичь, будь у него не такой безвольный, «тряпичный» характер!

Антон Павлович любит перебеливать черновые рукописи: занятие это не мешает ходу попутных мыслей. И сейчас его думы плывут, сталкиваются, порождают другие думы, как будто не связанные одна с другой. Так на небе плывут облачка, так же они нагоняют друг друга, сталкиваются и сливаются в одно большое облако.

Наконец рассказ переписан набело, и Антон Павлович поставил внизу свой псевдоним: «А. Чехонте». Невольно на память пришло, как возник этот чудной псевдоним.

Среди учителей Таганрогской гимназии был священник — отец Федор Покровский. На уроках его, вместо занятия законом божьим, обычно горячо спорили о Шекспире, Гёте, Пушкине. А сам отец Федор увлекался Щедриным, и едва появлялось новое произведение любимого писателя, он, встречая на улице гимназистов, еще издали вопрошал:

— Читали?

Покровский любил рассказывать анекдоты, и глаза его неизменно искрились смехом. Антону иногда казалось, что перед ним не священник, а гусар, ради шутки надевший на себя рясу. Даже во время службы в церкви он казался великим шутником. Голос у него был оперный, пел он искусно, но так, что молящиеся переглядывались и улыбались.

Отец Федор давал ученикам прозвища, звучали они насмешливо и ласково. Чехова он вызывал к доске так:



— Че-хон-те!

Среди гимназистов привилось это прозвище. Став писателем, Антон Павлович сделал его своим псевдонимом.

Невозвратно ушедшие годы... Хотя иногда кажется, что «в детстве не было детства», однако есть и греющие душу воспоминания.

Вечером, возвращаясь из лавки, отец вместе с детьми пел хором или устраивал музыкальные концерты: он с сыном Николаем разыгрывал дуэты на скрипке, Маша аккомпанировала им на рояле.

А мать обожала театр и, несмотря на скудость средств, хоть изредка выбиралась с детьми посмотреть игру заезжих артистов. Ее место бывало в партере, а сыновья-гимназисты устраивались на галерке. Сколько волнующих переживаний приносили эти редкие хождения в театр, приобщавшие к далекому, возвышенному миру искусства.

После виденных спектаклей братья Чеховы устраивали дома свои представления. Особенным успехом пользовалась шутка, которая, как и нынешний рассказ, называлась «Хирургия».

И в этом шуточном представлении тоже действовал незадачливый зубной врач, роль которого играл гимназист Антон Чехов. Брат Михаил изображал горничную в приемной врача, а Александр — страдающего пациента.

Братья играли с увлечением, всякий раз импровизируя и варьируя речь своих героев, только само действие оставалось почти неизменным. Антон вооружался большущими щипцами для угля и делал вид, что сует их в рот бедняге больному. «Хирургия» длилась долго, пациент страдал, охал, врач произносил смешные слова утешения и наконец под общий хохот зрителей извлекал изо рта пациента зуб — пробку от пивной бутылки. В довершение всего и этот «зуб» оказывался здоровым...

Неизгладимы детские впечатления, и удивительно перекликаются они с тем, что свершается по прошествии многих лет. Так далекое прошлое, сливаясь с настоящим, обогащает художника новыми, большими чувствами. Память чувств —

драгоценный источник творчества. Даром этим Антон Чехов владеет полно и бережно. Лежащий перед ним рассказ «Хирургия» — лучшее тому свидетельство: родился он в переключке времен.

В окно вливается праздничный благовест монастырских колоколов. Сегодня воскресенье. Чикинский доктор свободен от приема в больнице. Весь день можно отдать целиком себе самому — писать.

Но есть еще обязанность, к которой он относится свято, — семья. Заботу о родных он считает своим долгом. Уже первые свои литературные заработки он отдавал матери, чтобы помочь ей сводить концы с концами. Теперь семья хоть не обладает достатком и живет скромно, однако уже без горькой нужды, преследовавшей ее многие годы.

Другая забота гложет последнее время — надо поддержать братьев, шатко идущих по пути жизни. Особенно тревожно за Николая и Александра. Беззаботность одного и безалаберность другого иногда приводят в отчаяние.

Вот слышатся их голоса из глубины парка:

— Дон Антое-нито!.. — басит Николай.

— Антонио-ооо! — вторит ему Александр.

Братья, наверно, опять затеяли какую-нибудь озорную шутку и зовут принять в ней участие.

— В чем дело? — осторожно откликается Антон Павлович.

— Пойдем к Левитану! — Александр вышел из-за деревьев и своей широкой фигурой почти закрыл окно флигеля.

— Зачем?

— Жена горшечника из деревни Максимовка, у которой он снимает комнату, сообщила: «Тесак ваш захворал».

— Если Исаак Ильич болен, надо его проведать, — соглашается Антон Чехов.

— Наверно, просто хандрит, на него частенько нападает хандра, — сказал Николай. Он подошел к окну и, рассеянно беря табак из табакерки, вертит большую самокрутку.

Мягкость движений да удивительно пытливый взгляд — пожалуй, все, что объединяет братьев.

Рядом со стройным Антоном сутуловатый Николай кажется неказистым. Очки с толстыми стеклами и густая щетка усов старят его, хотя он только на три года старше Антона.

Александра тоже начали укатывать «крутые горки»: на лице усталость и сетка морщин покрывает высокий лоб.

Младший, Антон, глядит на своих старших братьев по-отцовски заботливо. Когда он был гимназистом таганрогской гимназии, а они студентами учились в Москве, то Антон безропотно подчинялся авторитету Александра и Николая, в своих письмах к ним даже спрашивал совета. Затем так случилось, что они поменялись ролями, и он начал опекать своих братьев.

— Ну что ж, идем к «Тесаку»! — решил Антон.

## РАЗНЫЕ ПУТИ

Художник Левитан поселился на лето неподалеку от Чеховых, в соседней деревушке, но, чтобы попасть к нему, надо было пересечь речку, миновать обширное болото, пройти изрядно по лесу.

Братья шли, оживленно переговариваясь. Разговор сначала касался общего друга «Тесака» — говорили о его замечательных пейзажах, затем незаметно перекинулись на тему, которая волновала Антона все более.

Начал он будто издалека, обращаясь к Александру:

— Вспоминаю твое последнее мне письмо ко дню рождения.

— Чем тебя поразил?

— Твое поздравительное письмо чертовски, анафемски, идольски художественно. Пойми, что если бы ты писал так рассказы, как пишешь письма, то давно бы уже был великим, большущим человеком!

— Все-таки не понимаю, чем так тебя поразил. Писал просто, что на душе лежало, то и выкладывал без утайки. Не скрывал ни своей грусти, ни лирики, а чтобы ты не соскучился, старался сохранять юмор. Короче говоря, от сердца

писал! И не поленился пошевелить мозгами, — раскатисто рассмеялся Александр.

— То-то и оно! А вот рассказы, которые ты мне присылал для передачи Лейкину, сильно пахнут ленью. Признайся, ты их в один день написал?

— Н-да...

— Потому из всей массы я сумел выбрать только один отличный, талантливый рассказ. Лень у тебя не рассуждающая, работающая залпом, зря...

— Уж скажешь ты, право.

— Да уважай ты себя, ради Христа, не давай рукам воли, когда мозг ленив! Пиши не более двух рассказов в неделю, сокращай их, обрабатывай, чтобы труд был трудом.

— Ты его уж слишком того... не жалеешь... — вмешался в разговор Николай.

— погоди, брате, и до тебя дойдет очередь! — отшутился Антон и продолжал: — Даже твой отличный рассказ следует сократить. Сократить больше чем наполовину. Вообще, извини, пожалуйста, я не хочу признавать рассказов без по-марок.

Александр бросил внимательный взгляд на брата. Откуда у него такая уверенность суждений, убежденность в своей правоте? По тому, как горячо он говорит, очевидно, что все это в нем наболело, пережито, плод долгих и упорных размышлений.

Глухой голос Антона наставлял:

— Художник должен всегда работать, всегда обдумывать, потому что иначе он не может жить.

Александр не мог бы упрекнуть брата в том, что слова его расходятся с делом. Его особенность — он всегда думает, всегда, всякую минуту, всякую секунду. В кругу друзей, за домашним столом или играя с собакой — он всегда в раздумье, даже если на его лице пробегает улыбка. Оттого иногда он кажется рассеянным, будто смотрит в глубь самого себя, и может вдруг задать неподходящий вопрос, оборвать беседу на полуслове или неожиданно примется что-то записывать в тетради, с которой никогда не расстается.

— Писателю надо непременно в себе выработать зоркого, неугомонного наблюдателя, — слышался настойчивый глухой голос. — Надо работать! Не покладая рук... Всю жизнь.

— А если жизнь трудна, если преследуют неудачи, тоска грызет. Э-э, да что тут говорить... — Александр не договорил и безнадежно махнул рукой.

— Не оправдание! Писатель — это человек обязанный, законтрактованный сознанием своего долга и совестью. А талант — это прежде всего сила, стойкость, мужество. Прости, говорю высокие слова, не люблю так — вынуждаешь.

Братья пошли молча. Извилистая тропинка в зарослях ивняка сузилась, стала петлять еще больше, пока не уперлась в неширокий ручей.

— Александр, скачи первым, ты старший! — рассмеялся Антон Чехов.

— Нет! Покажи ты нам пример, учитель, — съехидничал Николай.

— Я же сказал — дойдет и до тебя очередь, только, чур, не обижаться, — подхватил шутку Антон.

— Жду терпеливо, а пока скачи!

— Ладно! — Разогнавшись, Антон легко перепрыгнул ручей и уже с другой стороны крикнул: — Предупреждаю, тебе достанется еще больше!

Братья никогда не сердились на резкие, прямые слова, которые они привыкли говорить друг другу в глаза. Дружба их, не нарушаясь с детства, с годами лишь крепла.

— Поругай еще, только не отвлеченно, — возобновил прерванный разговор Александр. — Но прежде слушай мои стихи. Импровизация...

Пять братьев мать нас родила  
И пять на свет произвела,  
Но Вы один в своем таланте,  
Как модный фрак сидит на франте,  
И я ничтожен перед Вами.  
Сияйте ж Славою меж нами!

Ну как, плохо?

— Очень! — давясь от смеха, в один голос откликнулись оба брата.

— Поэт ты никакой, а прозаик из тебя мог бы выйти претличнейший. Итак, слушай меня дальше, если, конечно, желаешь.

Глуховатый голос Антона Павловича звучал негромко, но внятно. Чувствовалось, что говорит он продуманно и убежденно:

— Необходимо тебе избавиться от «общих мест» в рассказах. Ты пишешь: «Заходящее солнце, купаясь в волнах темневшего моря, заливало багровым золотом...» и так далее. Или еще хуже: «Ласточки, летая над поверхностью воды, весело чирикали...» Все это невыразительные, общие места. Так описывать природу нельзя! Когда говоришь о природе, следует хвататься за мелкие частности, группируя их таким образом, чтобы по прочтении, когда закроешь глаза, возникала картина.

— Например?

— Например, у тебя лучше получится лунная ночь, если ты напишешь, что на мельничной плотине яркой звездочкой мелькало стеклышко от разбитой бутылки и покатила шаром темная тень собаки или волка.

— Превосходно! Молодец!

Это сказал Николай. И хотя Александр молчал, по лицу его было видно, что он прислушивается к каждому слову брата.

— И в изображении психических движений лучше всего избегать описывать душевное состояние героев; нужно стараться, чтобы оно было понятно из действия.

— Как? — Александр пытливо глянул на брата.

— А вот так. Для того чтобы подчеркнуть бедность просительницы, не нужно тратить много слов, не нужно говорить о ее жалком, несчастном виде, а следует только вскользь сказать, что она была в рыжей тальме.

— Верно, дон Антонио! — одобрительно улыбнулся Николай. — Говоришь так, что я вижу перед глазами эти картины: и лунную ночь у мельничной плотины, и бедную прося-



тельницу в старенькой порыжевшей тальме. Наверно, многие законы творчества для художника кисти и пера одинаковы. Во всяком случае, согласен: талант требует неустанного ухода за собой. Перефразируя Гёте, можно сказать, что лишь тот достоин своего таланта, кто каждый день завоевывает его.

— Понимаешь, но не следуешь сему золотому правилу! — Строгая морщинка прорезала лоб Антона Чехова, и он замедлил шаг, приостановился. — А не думаешь ли ты, что недовольство собой составляет одно из коренных свойств всякого настоящего таланта? — И, не дожидаясь ответа, произнес твердо: — Я лично в этом убежден!

Они вошли в густую, темную чащу. Лес молчал. Только сороки, удобно разместившись на березах, громко трещали.

Братья пошли по узкой тропе, вившейся между деревьями. Идти пришлось гуськом, разговаривать стало трудно, но беседа не прервалась. Антон теперь заговорил резче, так как, очевидно, то, что он собирался высказать, вызывало в нем особенное чувство боли и негодования.

— Ну что ж, наступила твоя очередь, Николай, слушать.

— Готов!

— Нет у тебя уважения к своему таланту! Работаешь лишь «по вдохновению». Ты еще молод, а уже перестаешь двигаться вперед. Ты часто жалуешься, что тебя «не понимают»... Однако уверяю тебя, что, как брат и близкий тебе человек, я тебя понимаю и ото всей души сочувствую. Все твои хорошие качества я знаю как свои пять пальцев, ценю их и отношусь к ним с самым глубоким уважением. Я, если хочешь, в доказательство того, что я понимаю тебя, могу даже перечислить эти качества.

— Ну...

— По-моему, ты добр до тряпичности, великодушен, не эгоист, поделишься последней копеечкой, искренен. Ты чужд зависти и ненависти, простодушен, жалеешь людей и животных, не ехиден, не злопамятен, доверчив. Ты одарен свыше тем, чего нет у других: у тебя талант...

— Все это великолепнейшие качества, имеющие огромную ценность. Я жду «но».

— Сейчас будет и большое, неприятное «но». Недостаток у тебя один. В нем и твоя ложная почва, и твое горе. Это — твоя крайняя невоспитанность. Извини, пожалуйста, но, как говорится, истина важнее дружбы. Тот, кто наделен талантом, несет повышенную ответственность — он должен быть безупречно воспитанным.

— Что ты подразумеваешь под словом «воспитанность»? Хороший тон, приличные манеры? Да, их нет у меня! И за этим я не гонюсь и вообще не собираюсь всякую маниловщину делать своим идеалом.

Николай вспыхнул. Раздражительность у него легко переходила в словесную резкость, а порой выливалась и в брань. Сейчас, когда брат коснулся его характера, он с трудом удерживался, чтобы не наговорить обычных своих грубостей. Но брат будто и не заметил его состояния. Он не изменил своего убежденного тона, лишь пошел рядом и крепко взял Николая под руку.

— Пойми правильно: воспитанные люди уважают человеческую личность, а потому всегда снисходительны, мягки, вежливы, уступчивы. Они не бунтуют из-за мелочи, живя с кем-нибудь, не делают из этого одолжения, а уходя, не говорят: с вами жить нельзя! Они сострадательны не к одним только нищим и кошкам. Они болеют душой и от того, чего не увидишь простым глазом...

Разговор этот назревал давно. Антон Чехов лишь искал повода и ждал удобного случая, чтобы его затеять. Поведение Николая в быту, с родными, товарищами, а более всего в отношении самого себя все сильнее заставляло тревожиться. И не только потому, что Николай Чехов бывал недопустимо раздражительным. Это Антон, как врач, объяснял в значительной мере болезнью, подтачивавшей брата. Чахотка... Она подкралась незаметно и цепко держала свою жертву.

Все же ничто не может служить оправданием для распушенности, грубости — в этом Антон Чехов был убежден не-

поколебимо. Сильный, высокий человеческий дух должен побеждать и невзгоды, и болезни, и слабости характера. А недостатков в натуре Николая, при всем том, что художник он талантливый, — хоть отбавляй!

— Воспитанные люди чистосердечны и боятся лжи, как огня. Не лгут они даже и в пустяках... Они не рисуются. Они не пускают пыль в глаза меньшей братии...

— Так... так...

Николай шел, опустив низко голову.

— Они не болтливы и не лезут с откровенностями, когда их не спрашивают. Они не уничижают себя с той целью, чтобы вызвать в другом сочувствие. Они не играют на струнах чужих душ, чтобы в ответ им вздыхали и нянчились с ними. Они не говорят: «Меня не понимают!» или: «Я разменялся на мелкую монету!», потому что все это бьет на дешевый эффект, пошло, старо, фальшиво... Они не суетны. Их не занимают такие фальшивые бриллианты, как знакомство со знаменитостями...

Не как злое обвинение и не как проповедь или назойливое поучение звучали эти слова. Брат обращался к брату горячо, от всего сердца, с любовью и одновременно с болью. Кто, как не он, обязан был прямо и резко высказать ему всю правду в глаза, показать, что он идет по ложному пути жизни.

— Истинные таланты всегда сидят в потемках, в толпе, подальше от выставки. Еще Крылов сказал, что пустую бочку слышнее, чем полную... Воспитанные люди, если имеют в себе талант, то уважают его... Они жертвуют для него всем. Они горды своим талантом...

Голос Антона Чехова звучал все тише, он как будто говорил с самим собой, проверяя свои заветные мысли. Но чем тише он произносил слова, тем казались они проникновеннее, глубже, тем сильнее доходили до сердца.

Николай Чехов внимал брату по-прежнему молча.

— Талантливые люди воспитывают в себе эстетику. Им, особенно художникам, нужны свежесть, изящество, человечность. Они обязаны держаться правила: «Здоровый дух в

здоровом теле». Чтоб воспитаться и не стоять ниже уровня среды, недостаточно прочесть только «Пиквикский клуб» и вызубрить монолог из «Фауста». Тут нужны непрерывный дневной и ночной труд, вечное чтение, штудировка, воля. Для того дорог каждый час!

При всем своем самолюбию, нетерпимости, вспыльчивости Николай покорно выслушивал отповедь брата, согласно кивал головой, когда тот убеждал, что недостаточно иметь отличные свойства, дарованные самой природой, ибо они не стоят человеку никакого труда, а необходимо их самому воспитывать, развивать, культивировать.

Культура — вот что требуется привносить в щедрые дары природы. По мнению Антона, воспитанный и культурный человек — понятия одинаковые, однако, чтобы стать достойным этого высокого звания, недостаточно внешних признаков воспитания и культурности. Потому, чтобы не остаться просто одаренным, а быть подлинно талантливым человеком, следует воспитывать свой талант, трудиться над ним. Талант — это культура!

В отличие от Николая, Александр Чехов вправе был считать себя достаточно образованным. Острая память, широкий круг знаний при умении вникать в сложные научные вопросы — все это делало его личностью незаурядной. И даже он, при всех своих неоспоримых достоинствах, достиг в жизни так же мало, как и его брат Николай.

Лес становился все гуще.

Братья шли молча, каждый погруженный в свои невеселые мысли.

Никто из них не казался ни рассерженным, ни расстроенным, просто каждый напряженно думал о своем. И старшие братья не пытались затевать спор с младшим, так как были согласны с ним. Ну что поделать, ежели он прав во всем: за минувшие годы Александр нисколько не совершенствовал свой литературный дар, а Николай все так же остается в числе художников, «подающих надежды».

А за это же время Антон стал признанным писателем, перед которым открылось великое будущее. Он подтверждает

свои убеждения делом и при этом не гонится за славой, слава идет к нему сама.

Мрачность несвойственна никому из Чеховых, даже в самые трудные минуты они склонны к веселью. И сейчас тягостное молчание вдруг прервал шутливый голос Александра:

— ...я ничтожен перед Вами. Сияйте ж Славою меж нами! Все рассмеялись.

Они вышли из леса. За полем цветущей гречихи открылась небольшая деревенька. Среди ее редких изб нетрудно было найти избу горшечника: вокруг нее валялись битые черепки. Тут обитал Левитан.

— Надо разогнать его хандру, — предложил Николай. — Вломимся к нему, как разбойники, он очень боится разбойников.

Без стука и предупреждения распахнули дверь в избу. Вбежали, сильно топоча ногами. Левитан лежал на постели одетый, лицом к стене.

Крик «Руки вверх!» заставил его выхватить револьвер из-под подушки, вскочить. Старенький заржавленный револьвер забавно дрожал в его руке. Спросонок художник не сразу узнал своих гостей.

— Чегт знает что такое! — Левитан заметно картавил. — Какие дугаки. Таких еще свет не производил...

— Спрячь свою пушку, а то невзначай выстрелишь, — попросил Николай.

— Револьвер не заряжен, бутафорский, купил на базаре по дешевке, вдруг пригодится для модели. — Левитан уже добро улыбался непрошеным гостям.

— А почему бы вам не перебраться к нам в Бабкино? И вам будет не так скучно, и нам веселее, — предложил Антон Чехов.

— В самом деле, переезжай! — поддержал Николай.

— Если имеется свободный флигелек... — неуверенно вымолвил Левитан.

— Есть! Будете там трудиться вволю, в одиночестве — покажете пример моим ленивым братцам... Никто не будет

мешать вам, хотя я обязательно приколочу вывеску над дверью: «Ссудная касса купца Левитана».

— Антон Павлович, умоляю, не шутите так... Впрочем, согласен — еду к вам...

## «ДЕЛУ — ВРЕМЯ, ПОТЕХЕ — ЧАС»

Порой удивительные картины наблюдали жители Бабкина.

Однажды на лугу возле усадьбы появился всадник на осле. В пестром халате, в высокой чалме, он походил на волшебника из сказки. Взглянув на заходящее солнце, он сошел с ослика, разложил на земле коврик, стал на колени и, как правоверный мусульманин, обратившись к востоку, начал совершать намаз — молитву.

В этот момент, откуда ни возьмись, подкрался к нему бедуин. Белый бурнус его подозрительно походил на обыкновенную простыню, чалма смахивала на полотенце, а в руках было охотничье ружье.

В молитвенном экстазе мусульманин не заметил разбойника. А тот подполз совсем близко, прицелился и почти в упор выпалил. Блеснул и прогрохотал выстрел, бумажный пыж вылетел из ствола. Но чудо: мусульманин даже не шелохнулся и как ни в чем не бывало продолжал молитву.

Бедуин выпалил снова, теперь прямо в небо. И тогда мусульманин упал замертво.

А через минуту разбойник-бедуин — Антон Чехов и убитый мусульманин — Левитан с хохотом обнимали друг друга.

И еще бывала такая забава — суд над Левитаном. В каких только грехах и преступлениях не обвинял его прокурор — Антон Чехов! Облаченный в шитый золотом мундир (благо владелец усадьбы Киселев в прошлом видный чиновник и для таких маскарадов находились костюмы), с холеными бакенбардами (жженая пробка отлично заменяла гримировальный карандаш), прокурор выглядел весьма внушительно.



Со всем пылом красноречия он требовал жесточайших наказаний преступнику то за злостное уклонение от военной службы, то за тайное, запрещенное законом, винокурение, то за ростовщичество. Свою речь прокурор произносил с такими забавными интонациями и уснащал такими шутками, что свидетели этого судилища хохотали до упаду, а подсудимый давился от смеха, произнося свое «последнее слово».

Ох и любит же Антон Чехов посмеяться и посмешить других! Поводы для того находит всюду, да еще старается вовлечь в свою игру всех окружающих. Устраивает на даче и костюмированные балы, и олимпийские игры с соревнованием в бабки или затевает игру в рулетку.

Однажды, едучи в поезде из Москвы в Бабкино с сестрой и матерью, он импровизировал целую сцену. В вагоне с ними ехал известный профессор, перед которым благоговела юная курсистка Маша Чехова. Девушка так смущалась его присутствием, что не знала, куда деваться. Чтобы проучить сестру, брат стал громко рассказывать о своей службе поваром у богатых графов и о том, какие они добрые господа и какие изысканные блюда ему приходится готовить на кухне.

Мнимый повар искусно вошел в свою роль, услужливо низко кланялся профессору, а матери желал поскорее найти хорошее место прислуги у таких же добрых господ, как графская семья, у которой он служил. Бедная Маша Чехова не знала, как утихомирить своего братца-«повара», а он еще пуще «входил в образ» и сочинял все новые подробности своего житья-бытья у добрых господ.

Веселая кутерьма, которую затевал Антон Чехов, подымала настроение бабкинских обитателей. Он казался неисчерпаемым источником юмора. «Из меня водевильные сюжеты прут, — говорил он, — как нефть из бакинских недр!»

Сама жизнь подсказывала ему эти сюжеты. То, мимо чего прошли бы другие люди, не ускользало от его пытливого взора.

Даже заурядные мелочи, попадая в поле его зрения, обретают свое образное выражение: «гуси на зеленом лугу тянутся длинной и белой гирляндой»; «трусливая собака подходит

к хозяину так, словно лапы ее касаются раскаленной плиты»; «рулевой на пароходе вертит колесо с таким видом, будто исполняет Девятую симфонию».

А сколько удивительных сюжетов сумел он подметить в обыденности бабкинской усадьбы и заштатного городка Воскресенска!

Однажды, проходя мимо строящейся купальни, Антон Павлович увидел, как в воде барахтались плотники: один — верзила, другой — коротышка-горбун. Они охотились за налимом, укрывшимся под корягой.

— Ты за зебры хватай, за зебры!

— Не видать жабров-то... Пстой, ухватил за что-то... За губу ухватил... Кусается, шут!

— Не тащи за губу, не тащи — выпустишь! За зебры хватай его, за зебры хватай!.. Опять почал рукой тыкать! Да и беспонятный же мужик, прости царица небесная! Хватай!

Добыча ускользала из рук верзилы. В азарте и коротышка полез в глубокое место; он захлебнулся, стал пускать пузыри. Тогда на помощь явился старик пастух, пригнавший стадо на водопой...

Утрами, до начала приема в больнице, доктор Чехов целиком отдается литературе.

Вот и сегодня он садится за маленький столик от швейной машины. Перед глазами возникает виденная сценка возле купальни.

Воображение писателя дорисовало картину, как пастух Ефим (он уже получил это имя) «щурит свой глаз на рыболовов, затем снимает лапти, сбрасывает с плеч мешочки и снимает рубаху. Сбросить порты не хватает у него терпения, и он, перекрестясь, балансируя худыми, темными руками, лезет в портах в воду... Шагов пятьдесят он проходит по илистому дну, но затем пускается вплавь.

— Пстой, ребятушки! — кричит он. — Пстой! Не вытаскивайте его зря, упустите. Надо умеючи!»

И пастуху Ефиму не удастся вытащить налима из-под коряги. А в это время стадо, оставшееся без присмотра, забралось в сад. Оттуда послышался гневный голос барина.

Барин послал кучера Василия помочь вытащить налима. Василий раздевается и лезет в воду. «Я сейчас... — бормочет он. — Где налим? Я сейчас...»

Теперь уже четыре рыболова тщетно копошатся в воде. К ним присоединяется и сам барин. Его вмешательство тоже ни к чему не приводит. Только когда все сообща подрубают корягу, барин вытаскивает на поверхность аршинное тело скользкой рыбины.

«— Шалишь... Дудки, брат. Попался? Ага!» — торжествовал барин. И на всех лицах разлилась счастливая улыбка. Но вдруг налим вильнул тяжелым хвостом, послышался плеск и... «поминай как звали».

Если бы автора спросили: «Что происходило в действительности, а что вы сочинили?», он не смог бы ответить.

Однажды летом Чехову пришлось на короткое время замещать уездного врача в Звенигороде.

Трудно было представить, что когда-то Звенигород был стольным градом Руси. О былом величии напоминали только остатки крепостного вала да красивейшей архитектуры монастырь.

Антон Павлович поселился в небольшом деревянном домишке. Невдалеке от него находился дом побольше, где размещались все местные учреждения, что дало повод одному из чеховских героев говорить: «Здесь и полиция, здесь и милиция, здесь и юстиция — совсем институт благородных девиц».

Уйма работы было в больнице, в день приходилось принимать по несколько десятков больных. Молодой врач не только чутко заботится о каждом своем пациенте, но и старается украсить окружающую обстановку.

Из скромных средств земской больницы временный заведующий ухитряется выкроить сумму, достаточную, чтобы насадить в больничном дворе аллею лиственниц. Пускай не он, а те, кто будут здесь через годы, любят разросшимися стройными красавицами лиственницами.

Как он любил лес, деревья! К каждому дереву относился как к живому существу, которое нужно беречь, лелеять. Че-

рез всю жизнь пронесит он это неугасимое чувство, и не случайно в уста доктора Астрова в пьесе «Дядя Ваня» он вкладывает слова, близкие ему самому: «Ну, я допускаю, руби леса из нужды, но зачем истреблять их? Русские леса трещат под топором, гибнут миллиарды деревьев, опустошаются жилища зверей и птиц, мелеют и сохнут реки, исчезают безвозвратно чудные пейзажи, и все оттого, что у ленивого человека не хватает смысла нагнуться и поднять с земли топливо... Надо быть безрассудным варваром, чтобы жечь в своей печке эту красоту, разрушать то, чего мы не можем создать. Человек одарен разумом и творческой силой, чтобы преумножать то, что ему дано, но до сих пор он не творил, а разрушал. Лесов все меньше и меньше, реки сохнут, дичь перевелась, климат испорчен, и с каждым днем земля становится все беднее и безобразнее... Когда я прохожу мимо крестьянских лесов, которые я спас от порубки, или когда я слышу, как шумит мой молодой лес, посаженный моими руками, я сознаю, что климат немножко и в моей власти и что если через тысячу лет человек будет счастлив, то в этом немножко буду виноват и я. Когда я сажаю березку и потом вижу, как она зеленеет и качается от ветра, душа моя наполняется гордостью...»

Антон Павлович так думал сам и так сам поступал. Жизнь леса и каждого дерева была ему близка, дорога, и он берег ее, как драгоценнейший дар природы.

Исконно русская, благодатная красота звенигородской природы по-особенному волнует Чехова-художника. Тонкий мастер пейзажа, он чутко чувствует настроение природы.

Чудесный рассказ «Мертвое тело», написанный во время короткого пребывания в Звенигороде (можно только дивиться такой трудоспособности!), начинается зримой картиной: «Тихая августовская ночь. С поля медленно поднимается туман и матовой пеленой застилает все доступное для глаза. Освещенный луною, этот туман дает впечатление то спокойного, беспредельного моря, то громадной белой стены. В воздухе сыро и холодно. Утро еще далеко. На шаг от проселочной дороги, идущей по опушке леса, светится огонек...»

Почти у самой дороги сидят два мужика, оставленных сторожить мертвое тело утопленника. Один — молодой, высокий парень с едва заметными усами, в рваном полушубке и лаптях, другой — маленький старообразный мужичонка, тощий и рябой, он свесил на колени руки и, не двигаясь, глядит безучастно на огонь. «Между обоими лениво догорает небольшой костер и освещает их лица в красный цвет. Тишина. Слышно только, как скрипит под ножом деревяшка и потрескивают в костре сырые бревнышки».

К сидящим у костра мужичкам приближается прохожий странник. «Мир вам!» — молвит он.

В рассказе нет острого, захватывающего сюжета. И не происходит никаких необычайных событий. Тем не менее вся картина (рассказ недаром имеет подзаголовок «Картинка») приковывает внимание, начиная от первых строк описания природы и до конца, когда стихают шаги удаляющегося странника, костер затухает и на все ложится большая черная тень.

В Звенигороде Чехов с поразительной быстротой — в течение одного дня! — написал рассказ «Сирена».

Потешный, лукавый рассказ! Тонко высмеивает он мнимые добродетели и явные слабости уездных общественных деятелей. Соблазняющая их сирена — всего лишь маленький чиновник, секретарь съезда мировых судей. И соблазны его самые простые — гастрономические.

Только обладая неисчерпаемым запасом юмора и острой наблюдательностью, можно было создать этот шедевр. Чехов владел этими качествами полно и сильно.

Но было еще что-то, что позволило ему, земскому врачу, предельно занятому своим прямым делом, найти силы для творчества.

Воля к труду — вот качество, которое все более делает талант Чехова могучим, победным. И хотя еще не настало время, чтобы робкий псевдоним «А. Чехонте» уступил место уверенной подписи — «А. Чехов», но обаятельная шутовость юного Чехонте уже вырастает в веселую мудрость зрелого Чехова.

## СЛАВА ИДЕТ НАВСТРЕЧУ

Семейство Чеховых поселилось в Москве на утопающей в зелени Садово-Кудринской улице. Дом, который занимает семья, невелик, но по-своему величествен: его полукруглые окна похожи на башенные выступы, а весь дом напоминает игрушечный замок.

В верхнем этаже «замка» живут отец, мать и сестра писателя, а он сам с братом Михаилом, студентом юридического факультета, поместился в трех нижних комнатах. Отсюда наверх ведет узорчатая чугунная лестница с широкой площадкой на повороте. Проходящих здесь встречает чучело волка с грозно оскаленными клыками. Волк этот принадлежит хозяину дома Корнееву и достался съемщикам квартиры в виде случайного дополнения.

Впрочем, вся обстановка в квартире носит случайный характер, будто собиралась она, как говорится, «с бору по сосенке». В комнате верхнего этажа, расположенной как раз над кабинетом писателя, глаз прежде всего замечает пианино, аквариум и висящую на стене большую, но незаконченную картину. Сюжет ее прост и жизнен: швея уснула над своей работой на рассвете. Даже в незаконченном виде картина впечатляет искренним, талантливым исполнением. Принадлежит она кисти одаренного художника Николая Чехова. Досадно, что он не завершил свою работу и, по словам брата Антона, «шалаберничает... гибнет ни за грош. Делает все то, что пошло, копеечно».

Над обстановкой своей квартиры Антон Павлович подшучивает:

— Хорошо быть писателем! Это все дала мне литература.

Когда гости с некоторым сомнением глядят на «блага, данные литературой», Чехов раскатисто хохочет и поясняет:

— Пианино взято напрокат, а мебель досталась совсем даром; владелец бросил ее, уехав из города.

Зато кабинет Антона Павловича выглядит уютным. От пола до потолка здесь стоят полки с книгами. Если пригля-



даться к ним, легко можно догадаться, что библиотека собирается исподволь. Да так это и есть на самом деле: когда заводятся свободные деньги, владелец кабинета приобретает книги по дешевке у букинистов на Сухаревском рынке.

Тяжелым, упорным трудом досталось Антону Павловичу относительное благополучие. Недавно только он стал автором целой книги «Пестрые рассказы». В ней собрано семьдесят семь лучших вещей, написанных за последние годы. И впервые рядом с псевдонимом, в скобках, указал настоящую фамилию: приподнял забрало.

Книга вызвала самые разноречивые отклики. Один популярный тогда критик предрек автору полное забвение в будущем и даже... смерть под забором. Сочувствуя автору, он пишет: «Увешавшись побрякушками шута, он [Чехов] тратит свой талант на пустяки и пишет первое, что придет ему в голову, не раздумывая долго над содержанием своих рассказов».

И дальше следует вывод: «Вообще книга Чехова, как ни весело ее читать, представляет собою весьма печальное и трагическое зрелище самоубийства молодого таланта, который изводит себя медленной смертью газетного царства».

Такие отзывы не могут не огорчать. И надо обладать большой стойкостью и могучей верой в свой труд, чтобы отшучиваться:

— Критики похожи на слепней, которые мешают лошади пахать землю.

Разве не великое счастье в такой момент получить похвалу от человека, мнение которого ценишь очень высоко? Так именно случилось в разгар налета критических «слепней» на первую книгу Чехова.

Мартовский день в Москве... Весеннее солнце еще не уверенно глядит на снежные сугробы, которые предстоит ему растопить. В кабинете дома на Садово-Кудринской неожиданно потемнело. Впрочем, подобное не удивительно ранней весной, когда после потока света капризно нахмурится небо и снова начинают падать крупные хлопья снега.

Антон Павлович глубоко уселся в кресло. Читает. Но то

ли книга попалась неинтересная, то ли он слишком устал — мысли его рассеянно витают где-то далеко.

— Прости! — Сестра Маша, как всегда, стараясь не нарушать покой брата, вошла в комнату тихо, на цыпочках. — Помешала тебе...

— Нет, лишь «думаю всякие мысли», как выражается герой одного моего рассказа.

— Тебе письмо.

— Спасибо!

— Только бы ничего огорчительного. Уж эти критики... Антон Павлович неторопливо распечатал конверт, развернул листок почтовой бумаги.

Маша внимательно смотрела на брата. По мере того как он читал, лицо его радостно оживлялось.

— Удивительно, словно не мне.

— От кого?

— Сам Дмитрий Васильевич Григорович.

— Григорович?!

— Представь! И что пишет... Неловко, право... Мне такие слова чудесные. Право, неловко...

— Ну, прошу!

— Слушай: «...у Вас настоящий талант, талант, выдвигающий Вас далеко из круга литераторов нового поколения».

— Боже, какое счастье! Кому верить, как не ему: замечательный, честный писатель... Читай все, все, с самого начала!

— Дмитрий Васильевич убеждает меня бросить срочную работу, «так как по разнообразным свойствам несомненного таланта, верному чувству внутреннего анализа, мастерству в описательном роде, чувству пластичности» я призван к тому, «чтобы написать несколько превосходных, истинно художественных произведений».

Сестра счастливо глядела на брата.

— Еще что пишет Дмитрий Васильевич?

— Он уверяет, что нужно «беречь впечатления для труда обдуманного, отделанного, писанного не в один присест, но писанного в счастливые часы внутреннего настроения».

Один такой труд будет во сто раз выше оценен, чем сотня прекрасных рассказов, разбросанных в разное время по газетам. Вы сразу возьмете приз и станете на видную точку в глазах чутких людей и затем всей читающей публики».

По лицу Маши катились слезы, она молчала и все так же не отрывала взгляда от брата.

— Недостоин я таких слов, такого отношения. Недостоин.

— Нет, нет, он прав! Как чудесно сказал: «...станете на видную точку в глазах чутких людей и затем всей читающей публики».

Долго еще брат и сестра обсуждали радостную весть. Григорович, прославивший свое имя замечательной повестью «Антон Горемыка», был на устах всей читающей России. Он покорял своим страстным, искренним словом, своим честным служением народу.

В тот день, вечером, Антон Павлович не явился в столовую, где за ужином собиралась вся семья и обычно кто-нибудь из гостей. Ужины эти не отличались изысканностью блюд, зато привлекали исключительным радушием хозяев. А потом молодежь всегда затевала танцы или все пели хором, слушали игру на рояле Николая Чехова.

Антон Павлович предупредил мать:

— Ужинать сегодня не буду... Нет, не тревожься, здоров. Надо поработать.

Действительно, в тот вечер он вдумчиво что-то писал. Однако отнюдь не новый рассказ заставил его удалиться от круга близких людей.

То, что на этот раз выходило из-под его пера, скорее походило на покаянную исповедь. Обращал он ее к «чистоте сердца» Григоровича.

«Ваше письмо, мой добрый, горячо любимый благовеститель, — писал Антон Павлович, — поразило меня, как молния. Я едва не заплакал, разволновался и теперь чувствую, что оно оставило глубокий след в моей душе... Я как в чаду. Нет у меня сил судить, заслужена мною эта высокая награда или нет. Повторяю только, что она меня поразила».

Не ложной скромностью, а беспощадной требовательностью к себе были продиктованы эти слова. Хотя Антон Павлович уже был автором произведений, которым суждено было войти в золотой фонд литературы, однако он остается неизменно суровым и требовательным в оценках к самому себе.

«Если у меня есть дар, — писал он далее, — который следует уважать, то каюсь перед чистотою Вашего сердца, я доселе не уважал его. Я чувствовал, что он у меня есть, но привык считать его ничтожным. Чтобы быть к себе несправедливым, крайне мнительным и подозрительным, для организма достаточно причин чисто внешнего свойства...

А таких причин, как теперь припоминаю, у меня достаточно. Все мои близкие всегда относились снисходительно к моему авторству и не переставали дружески советовать мне не менять настоящее дело на бумагомаранье. У меня в Москве сотни знакомых, между ними десятка два пишущих, и я не могу припомнить ни одного, который читал бы меня или видел во мне художника...»

Только самому близкому, дорогому другу можно было так открывать сокровенные мысли и чувства. И Чехов открывал их без малейшей утайки, будто говорил их вслух себе самому, наедине.

Антоша Чехонте уходит в прошлое. На литературную дорогу уверенной поступью выступает Антон Чехов — зрелый мастер, отдающий любимому делу весь свой талант, ум и сердце.

Время писательского становления Чехова — это и время становления его личности. Когда он призывал братьев воспитывать в себе высокие человеческие свойства, он равно обращался к себе самому. Ведь он жил с постоянной мечтой о лучшей жизни, борясь за «человека в человеке».

Забота о красоте человеческого духа не оставляла его никогда. По прошествии нескольких лет он обращается к одному писателю:

«...Напишите-ка рассказ о том, как молодой человек, сын крепостного, бывший лавочник, певчий, гимназист и студент,

воспитанный на чинопочитании, целовании поповских рук, поклонении чужим мыслям, благодаривший за каждый кусок хлеба, много раз сеченный, ходивший по урокам без калош, дравшийся, мучивший животных, любивший обедать у богатых родственников, лицемеривший и богу и людям без всякой надобности, только из сознания своего ничтожества, — напишите, как этот молодой человек выдавливает из себя по каплям раба и как он, проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течет уже не рабская кровь, а настоящая, человеческая...»

Кто этот молодой человек, сын крепостного, который «выдавливает из себя по каплям раба»?

Ну конечно, он сам — Антон Чехов, сумевший воспитать в себе то, что ему так хотелось видеть в своих братьях, — высшее человеческое чувство. Что может быть сильнее такой победы!

А братья? Нет, они не вняли увещаниям Антона, творческая жизнь их не удаётся.

Александр бросил чиновничью службу в провинции, переехал в Петербург, с помощью Антона стал сотрудником столичной газеты. Однако по-прежнему он жалуется на губительный «злой рок». Творчество его не продвигается дальше пустяковых рассказиков, репортерских заметок, редактирования журналов: «Слепец», «Пожарный», «Общество покровительства животных».

Умный, образованный, одаренный человек не выходит из посредственности. Причина? Проклятое безволие, которое его одолевает.

Еще хуже судьба Николая. Пристрастие к вину тянет его все ниже и ниже. Яркий талант художника тускнеет, гаснет. Попытки помочь ему оказываются тщетными, и нездоровая среда засасывает его все глубже на дно жизни.

«Талант» — назвал Антон Павлович рассказ, в котором рисует незадачливую судьбу брата. «На дворе скоро осень. Тяжелые неуклюжие облака пластами облекли небо; дует холодный, пронзительный ветер, и деревья с жалобным плачем гнутся все в одну сторону. Видно, как кружатся в возду-

хе и по земле желтые листья. Прощай лето! Эта тоска природы, если взглянуть на нее глазами художника, в своем роде прекрасна и поэтична...

Но художнику не до красот, его съедает скука.

К нему — изнывающему от тоски, являются коллеги, тоже когда-то «подававшие надежды», а ныне ищущие забвения во хмелю. Выпив несколько рюмок, они любят поговорить об искусстве, о своих грандиозных планах, которым никогда не суждено осуществиться.

— Придумал я, братцы, тему... — говорит один, хмелея. — Хочется мне изобразить какого-нибудь этакого Нерона... Ирода, или Клепентьяна, или какого-нибудь, понимаете ли, подлеца в этаким роде... и противопоставить ему идею христианства. С одной стороны, Рим, с другой, понимаете ли, христианство... Мне хочется изобразить дух... понимаете? Дух!»

Громкие, пустые слова! «Коллеги, все трое, как волки в клетке, шагают по комнате из угла в угол. Они без умолку говорят, говорят искренне, горячо: все трое возбуждены, вдохновлены. Если послушать их, то в их руках будущее, известность, деньги. И ни одному из них не приходит в голову, что время идет, жизнь со дня на день близится к закату, хлеба чужого съедено много, а еще ничего не сделано: что все трое жертвы того неумолимого закона, по которому из сотни начинающих и подающих надежды только двое-трое выскакивают в люди, все же остальные попадают в тираж, погибают, сыграв роль мяса для пушек...»

Неустанного, исполинского труда и бережного ухода за собой требует талант.

Александр Чехов как-то метко сказал:

— Талант должен безупречно, как модный фрак, «сидеть» на своем хозяине.

Сказал так, но сам живет, не придерживаясь этой верной мысли.

Постоянное недовольство собой совершенствует талант Антона Чехова. Даже заняв первое место среди писателей своего поколения, он утверждает:



— Если применять ко мне табель о рангах, то я нахожусь на тридцать седьмом месте, а вообще в русском искусстве — на девяносто восьмом.

Однако и это показалось ему нескромным, и вскоре в дружеском письме он еще более умаляет свое значение в искусстве:

«Чайковский составляет теперь знаменитость № 2. Номером первым считается Лев Толстой, а я № 877...»

Писатель глубокой мысли, он то и дело подчеркивает свою поверхностность. «Из всех ныне благополучно пишущих россиян я самый легкомысленный и несерьезный», — говорит он в письме Владимиру Короленко.

А о своем гигантском, напряженном труде отзывается шутливо: «Написал я повесть... возился с нею дни и ночи, пролил много пота, чуть не поглупел от напряжения... От писания заболел локоть и мерещилось в глазах черт знает что».

И приписывает себе необычайную лень: «Ленюсь гениально...»; «Лень изумительная... Из всех беллетристов я самый ленивый...»; «В моих жилах течет ленивая хохлацкая лень...»; «Провожу дни свои в праздности... Я хохол, я ленив...»; «Лень берет верх над всеми моими чувствами...»

Вот так же в юности гимназист Антон Чехов отшучивался в письмах из Таганрога своей матери, переселившейся с семьей в Москву. Мать жаловалась сыну, что семья живет в горькой нужде, что ни у нее самой, ни у дочери нет башмаков, чтобы выйти из дома, что за квартиру платить хозяину нечем, что в нетопленной комнате холод, хлеба не на что купить... Письмо кончалось просьбой — из оставшегося имущества продать швейную машинку и кровать.

Гимназист старательно исполняет материнское поручение, шлет вырученные гроши и письмо, полное всяческих шуток, пытаясь этим рассеять тяжелое настроение в семье, придавленной бедностью.

В 1887 году двадцатисемилетний писатель прослышал, что он выдвинут кандидатом на получение Пушкинской премии от Российской Академии наук. Чехов не скрывает своей радости, однако утверждает, что премию следовало бы поде-

лить между ним и Короленко, так как «Короленко знает вся Москва и весь Петербург», а его, Чехова, «ценят лишь десять—пятнадцать человек». «Дать премию мне,— говорит Антон Павлович,— значило бы сделать приятное меньшинству и уколоть большинство».

Академия присудила премию Чехову. Известие это, признавался Антон Павлович, «имело ошеломляющее действие, оно пронеслось по моей квартире в Москве, как грозный гром бессмертного Зевеса». Своему старому «благовестителю» Григоровичу Антон Павлович признается: «Если бы я сказал, что она [премия] не волнует меня, то солгал бы. Я себя так чувствую, как будто кончил курс, кроме гимназии и университета, еще где-то в третьем месте».

И тут же шутит, что премию дали, «должно быть, за то, что я раков ловил».

И продолжает утверждать, что «своим счастьем обязан не себе». Даже объясняет почему: «Во-первых, я «счастья баловень безродный», в литературе я — Потемкин, выскочивший из недр «Развлечения» и «Волны». Я — мещанин во дворянстве, а такие люди недолго выдерживают, как не выдерживает струна, которую торопят натянуть. Во-вторых, наибольшему риску сойти с рельсов подвержен тот поезд, который едет ежедневно без остановок, не взирая ни на погоду, ни на количество топлива».

«Потемкин», выскочивший из недр плохоньких журнальчиков, был бы более прав, сравнивая себя с гадким утенком, оказавшимся красавцем лебедем. Но он всегда скромн, неизменно чужд зазнайства и потому говорит: «Все мое написанное забудется через пять—десять лет, но пути, мною проложенные, будут целы и невредимы — в этом моя единственная заслуга».

Поистине святое недовольство, свойственное только настоящим талантам!

# СОДЕРЖАНИЕ

## БЫЛЬ И СКАЗКА

Звенья цепи . . . . .	3
Закованные дни . . . . .	14
Плен будней . . . . .	20
Колокольчик... . . . .	28
Душа народа . . . . .	35

## ЗАПИСКИ ОХОТНИКА

Крепостное гнездо . . . . .	46
Встреча с прошлым . . . . .	52
Прошлое и настоящее . . . . .	59
Двойники героев . . . . .	69

## ВЛАСТИТЕЛЬ ДУМ

Черные дни . . . . .	81
Первые лавры . . . . .	89
Поэт, царь и народ . . . . .	100
Карабиха . . . . .	109

## ШКОЛА ЖИЗНИ

Он ищет себя . . . . .	119
Учитель учится . . . . .	131
Рождение красоты . . . . .	143
Азбука жизни . . . . .	152

## ВОСПИТАНИЕ ТАЛАНТА

Уездный лекарь . . . . .	166
Зеркало жизни . . . . .	175
Разные пути . . . . .	183
«Делу — время, потехе — час» . . . . .	192
Слава идет навстречу . . . . .	198

Для восьмилетней и средней школы

*Таланов Александр Викторович*

**ЧУДЕСНЫЙ РОДНИК**

Ответственный редактор М. И. Сальникова

Художественный редактор М. Д. Суховцева

Технический редактор Н. Г. Леканова

Корректоры

Л. М. Николаева и К. П. Тягельская

Сдано в набор 13/IX 1966 г. Подписано к печати 28/XII 1966 г. Формат 60×90<sup>1/16</sup>. Печ. л. 18 Уч.-изд. л. 10,3 + 40 вкл. = 14,52. Тираж 100 000 экз. ТП 1966 № 627. Цена 85 коп. на бум. № 1. Издательство „Детская литература“. Москва, М. Черкасский пер., 1. Фабрика „Детская книга“ № 1 Росглавполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров РСФСР. Москва, Сушевский вал, 49. Зак. 4964.

**Scan Kreyder - 22.07.2016**  
**STERLITAMAK**

85 коп.



ИЗДАТЕЛЬСТВО  
„ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА“